



БОР. ПИЛЬНЯК
РАСПЛЕСНУТОЕ
ВРЕМЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1927





БОР. ПИЛЬНЯК

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ

РАССКАЗЫ



1 9 2 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

*Обложка художника
Б. В. ТИТОВА.*



О Т П Е Ч А Т А Н О
*В 1-й Образцовой типо-
графии Госиздата. Москва,
Пятницкая, 71.*
Главлит 90824. Гиз 20025
Тираж 7000. Зак. 2424.

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ

Жизнь очень напряженна. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов: иначе польется через край; и огромное счастье не иметь на столе блокнота, где записано: „рукописи в „Круг“, позвонить курьеру“, „в пять А. Б., приготовить книги“, „в два позвонить Дикому“, „предупредить Всеволода“. Дома все знают, что до четырех „нет дома, кто спрашивает?“ — потому, что я сижу за столом, иначе невозможно, — надо прятаться даже от звонков. Но в семь всегда надо выходить из дому — для встреч, для театра, для заседаний и споров, — это счастье, если ляжешь спать в два. И это несчастье, если надо днем пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге, — день погиб: время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно переменить и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться, и поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что „нету дома, снимите телефонную трубку!“ — Чтобы писать — надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растет все больше, по полкам книг уползаешь все выше, где все начинает одиночествовать, — да ползешь и по полкам лет, волосы уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех, однообразие.

Приехал из Питера Замятин. Обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции (приезжал смотреть, как ставят во Втором МХТ „Блоху“) заезжал в Современник, привез оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции (когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников, с ним давно мы затеяли переписку с Хлебного на Поварскую, при чем Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская на Шпицберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетенную в гофмановский переплет последней — прекрасной — Любви); Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом; Замятин и я, мы пошли в Художественный на „Ревизора“, в антракте Евгений пошел за кулисы, а я остался, чтоб прочесть письмо.

Вот оно:

16/XI—24 г.

Читала Вашу книгу „Былье“ и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с Вами. Помните телячий вагон, Вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами. Вы, кажется, не знали моего имени и называли меня Тезкой. Помните Ваши настойчивые и упорные желания, которые я не хотела исполнить. Вначале я ведь ни капельки не боялась Вас, и мы бродили далеко, далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на Вашей шинели. Вы мне рассказывали о чем-то красиво, красиво, и мне хотелось бесконечно слушать. Обрато ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного... Вы же, надеясь, верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорней настаивали...

С тех пор прошло пять лет. Я изменилась так, что Вы едва ли, встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что Вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила Вас.

Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило Вам приложить побольше усилия, чтобы оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю.

Теперь у меня просьба к Вам: укажите возможность достать „Голый год“. Я искала и в К. и в Я., но нигде не нашла, здесь книжные рынки очень бедны, и из Ваших книг, кроме „Былья“, ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале Вы сотрудничаете. Видела Вашу фамилию в „Русском современнике“, но это было еще летом, так что теперь не знаю в какое издательство писать.

Простите за непоследовательность мыслей и фраз. Но я пишу между делом — тороплюсь на поезд. А потом, вообще, человек страшно непоследовательный. Если надумаете написать, то вот мой адрес.

Чувствую, что надоела Вам, а потому спешу кончить.

Валентина-Тезка

P. S. А все ж таки напишите мне, я буду ждать“.

Прочитал и вспомнил девятнадцатый год, шпалы, степные ночи, рыжую девушку со стремительными движениями. У меня в кармане лежал документ: „рабочий-наборщик Коломенской типографии“, — липовый документ, — но я ехал с коломенскими рабочими; тогда откупались целые вагоны и они аргонавтили по степям за пудами ржи в войнах с заградительными отрядами, — и соседним аргонавтским кораблем был вагон иваново-вознесенских ткачих; я был уполномоченным нашего вагона, уполномоченной ткачих была рыжеволосая девушка, и вскоре узналось, что она такая же „ткачиха“, как я „наборщик“: она только-что окончила гимназию, собиралась — или в Москву на курсы, или в село в учительницы. В памяти моей не сохранилось, чтобы я добивался ее так, как написала она в этом письме, мы все тогда были в полубреде и за гомерическими матерщинами в борьбе за кусок хлеба, за мешок муки (под тяжестью которого до слез больно

подгибались ноги этой рыжеволосой девушки), а мы только двое в этом человеческо-волчьем бреду были одинаковы по происхождению и культуре... Прочитал письмо, думал, как далеко ушел от меня девятнадцатый год, когда я в неизвестности писал первые свои рассказы и жил рядовым мешечником, — решил, что этой девушке напишу письмо, правда, решил чуть-чуть спровоцировать, чтобы вызвать ее на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину, он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин, предположил, что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далекому, о себе и что у нее какие-то горести. Мне приятно было так думать, как думал Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал рыжеволосую девушку и думал о девятнадцатом годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моем „разнообразии“ бытия, в том „кувшине“, который нельзя опрокинуть, — и очень большое однообразие, и всегдашняя радость все расплескать.

Наутро я писал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собрались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки, он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтоб на утро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марселя Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы; там он встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолетная связь, он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж; она мечтала о нем всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит ее, которого любит она, — эта любовь скрашивала ее годы и ее жизнь, у нее было оправдание буден, и она могла жить ожида-

нием... А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошел мимо, не заметив и не узнав ее...

Я написал этой девушке:

„Тезка, здравствуйте.

Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню Вас, Тезка, Ваши рыжие волосы, Вашу особливость от всех, — тот пригорок у шпал, где в синей ночи мы караулили тишину и звезды.

В Вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки: говорю правду, никогда там в этом нашем „шпальном“ прошлом ни на минуту не хотел сделать я Вам больно и нехорошо, — впрочем, годы заставили Вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины и о чем вообще трудно говорить, — я не принимал наши отношения такими как показались они Вам. Мы встретились на минуту, в далеком прошлом, на шпалах, — Вы написали искренно и просто — и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят... Хорошо?

Вы пишете, что я был великодушен, — Вы пишете, что „на свете столько зла и насилия“ и что Вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли эти ее пять лет, какие обиды и какие радости принесли они, самое главное — в чем? Я знаю, как трудно писать о том, о чем не пишут, — так Вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками, — мне все будет дорого от Вас. В Ваше письмо есть надломанность, чуть-чуть боли, — да — „человек страшно непоследователен“. Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути, и те дни с Вами, и Вас.

Что же сказать о себе? Буду ждать Вашего письма, чтобы знать, что Вы хотите знать обо мне, все расскажу,

как есть, как было. Что же, я — писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явью. Быть может, Вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долг мой — быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве, — тоже и у меня многое унесли эти годы, ударило мне тридцать, пришло мужество, — те далекие шпалы мне кажутся путем и преддверием к тому, что вокруг меня.

Всего хорошего Вам. Письма Вашего жду. Руку Вашу целую крепко. — Вы написали, что благодарите меня, потому что я „поступил великодушно“, и сейчас же противопоставляете этому зло: — почему?

Такое письмо написал я. Федя (он же Давид Кириллович) отослал мои книги с препроводительным письмом, „многоуважаемая“, „ваш покорный слуга“.

И я получил ответ:

3/XII — 24 г.

„Прежде всего искренне, от души благодарю Вас за книги. Вы мне доставили громадное удовольствие. Их я еще не прочла. Хотя если б и прочтала, едва ли бы написала свое мнение о них. Это было бы, пожалуй, немножко смешно и нелепо. Мне ли, посредственной и обыкновенной женщине, давать отзывы о произведениях, когда о них говорит Троцкий и другие известные и влиятельные личности. Еще раз благодарю, большое, большое спасибо за них. Теперь о письме. Его я получила, прочла и то, что не совсем поняла, прошу объяснить Вас. Мне хотелось бы знать, что Вы в письме своем называете „главным“; разве то, о чем Вы сказали „трудно говорить“, есть самое главное? Может быть, оно могло быть главным для меня, для других, а разве Вы физиологическое влечение полов считаете главным? А разве Ваша работа, занятия, общественная жизнь не есть самое главное? Может быть, я не так поняла, тогда объясните. Потом скажите, почему Вы думаете, что женщины вообще трудно говорят об этом. Разве? Я лично смотрю на вещи проще и шире и не нахожу, что было бы трудно иль неудобно

говорить о чем бы то ни было, тем более с мужчиной, да еще в письме.

Теперь о себе. — Через полтора года после поездки за хлебом я встретила с человеком, с которым суждено было разделить самые красивые, высокие и в то же время обыкновенные переживания. Впрочем, оговорюсь, у нас они были, может быть, слишком необыкновенными; так как по темпераменту оба слишком эксцентричны. Это было в Плесе, природа, молодость, красота переживаний, — ну, чего бы еще надо. Казалось, любили друг друга безумно. — Однако вышло не так, как у всех: часы волшебных снов сменились ужасными часами нечеловеческих мучений. Мучили друг друга до иступления, до сумасшествия и отчаяния. Мучили без всяких причин и поводов. Дело доходило до того, что у меня отнимали из рук яд и считали за психически больную. Несколько раз собирались разойтись, но разве могли это сделать, когда что-то было настойчивее и сильнее нас обоих. И снова часы мучений сменялись сладостными часами безумной страсти... Так прошло более двух лет. Красивые переживания стали терять свою остроту, да и характеры стали более уравновешенными. Стало скучно. Я чувствовала, что так продолжаться не может; знала, что, если останется в таком положении, будет сплошная неудовлетворенность, апатия, скука. Собралась и уехала. Вот теперь живу в К., муж мой близ Я... Когда делаемся необходимыми друг другу, — я езжу туда, так лучше красивей и полней течет жизнь. Мне здесь хорошо. Я учусь — получаю специальное образование, а какое — скажу в другой раз.

Пока всего доброго, славный мой попутчик.

Пишите.

Тезка“.

Письмо принесли утром, за работой. Прочитал и понял, что с этой попутчицей мои пути — никогда уже больше не сойдутся, что и Ольга, и Замятин, и Федя, и я — плохие мы психологи, — что не так уж страшно,

что растут мои полки лет и книг и что скучно бывает беречь кувшины мозгов... А рыжую девушку — из того шпального девятнадцатого года — простит бог!

И тогда я думал — вот о чем: —

— — мой товарищ, писатель, старик, одинокий человек, оторвавшийся от этих наших дней, донашивающий пальто, сшитое в девятьсот десятом году, небритый; в его комнатке, бывшей ранее мастерской художника, на чердаке, горько пропахло старческой псиной, от девятнадцатого года застряли в комнате нищета, убожество, грязь, сбитые валенки, махорка, — как в нем, в человеке, застряла от того же девятнадцатого года — старческая чудаковатость, придурь. Его, этого моего друга, все забыли, — я остро присматривался к нему.

И вот было сентябрьское утро, моросил дождь. Он проснулся и встал со своей койки, пропахшей человеческой нечистотой, еще до рассвета, в тот час, когда люди, недосыпая, всегда чувствуют себя несчастными. На спиртовке он вскипятил себе чаю, пил не спеша и потом, надев свое многолетнее пальто, пошел вон с чердака. Он никогда не спешил, переулочками он вышел к трамваю и с первым трамваем, 4-м номером, поехал на Ярославский вокзал. На первом дачном в мутном сиротстве сентябрьского утра он приехал в Лосино-Островскую. Там прошел он дачные поселки, перешел речушку, прошел деревней, — ушел в лес... И там в лесу он раскладывал костер, сырые сучья горели медленно, дымили, чадили, убожествовали. Там в лесу против костра стоял высокий старик, небритый, нечистый, в пальто, посеребренным от времени на локтях и у карманов, — стоял очень долго, неподвижно, сгорбившись, руки в карманы, смотрел упорно в огонь, — пробовал было сесть у костра, но земля была сыра и холодна. Мимо проходили мальчишки, что собирали грибы, он не замечал их, они кричали:

— Эй, старик, ты что — колдун, что ли?

Постояли, посмотрели и пошли, — и, когда они уже скрылись, он, старик, сказал, полагая, что говорит им; — сказал тихо, любовно и хорошо:

— А я, детишки, думаю, выдумываю... Так-то, ребятки...

Лес был помят сотнями тех, кто перебивал здесь за лето и годы, валялись консервные коробки, и у самого костра поблескивало бутылочное разбитое дно, деревья — ельник — стояли мокрые, затихшие, серые, дождь то переставал, то закапывал вновь, облака уничтожили небо и просторы. Костер горел скверно, не мог разгореться, коптил.

Старик вернулся домой в сумерки, опять медленно шел переулочками, и дома, у себя на чердаке, не спеша растапливал железку, не спеша грел чай и вчерашнюю кашу. Пообедав, он лежал на кровати, прикрывшись тем же — промокшим — пальто, в котором был весь день, на ноги надел разбитые валенки, — читал старую толстую книгу: единственная электрическая лампочка на длинном шнурке с потолка была приспособлена так, что она вешалась и над кроватью, и над столом, и у железки. Это был седьмой этаж, где жил старик-писатель, и сюда не доходили уличные шумы.

К полуночи он отложил книгу, перевесил лампу от кровати к столу, с одного гвоздика на другой, вынул из стола толстую папку, разложил рукописи на столе и на новом листе, где наверху в углу стояла цифра страницы — 437, — стал писать, продолжать свой роман, почерк его был старчески крупен и неразборчив.

Он писал:

„... была весна. День шел к вечеру. В лесу не смолкли еще кукушки, но запел уже соловей. Из лесу пахло лан-

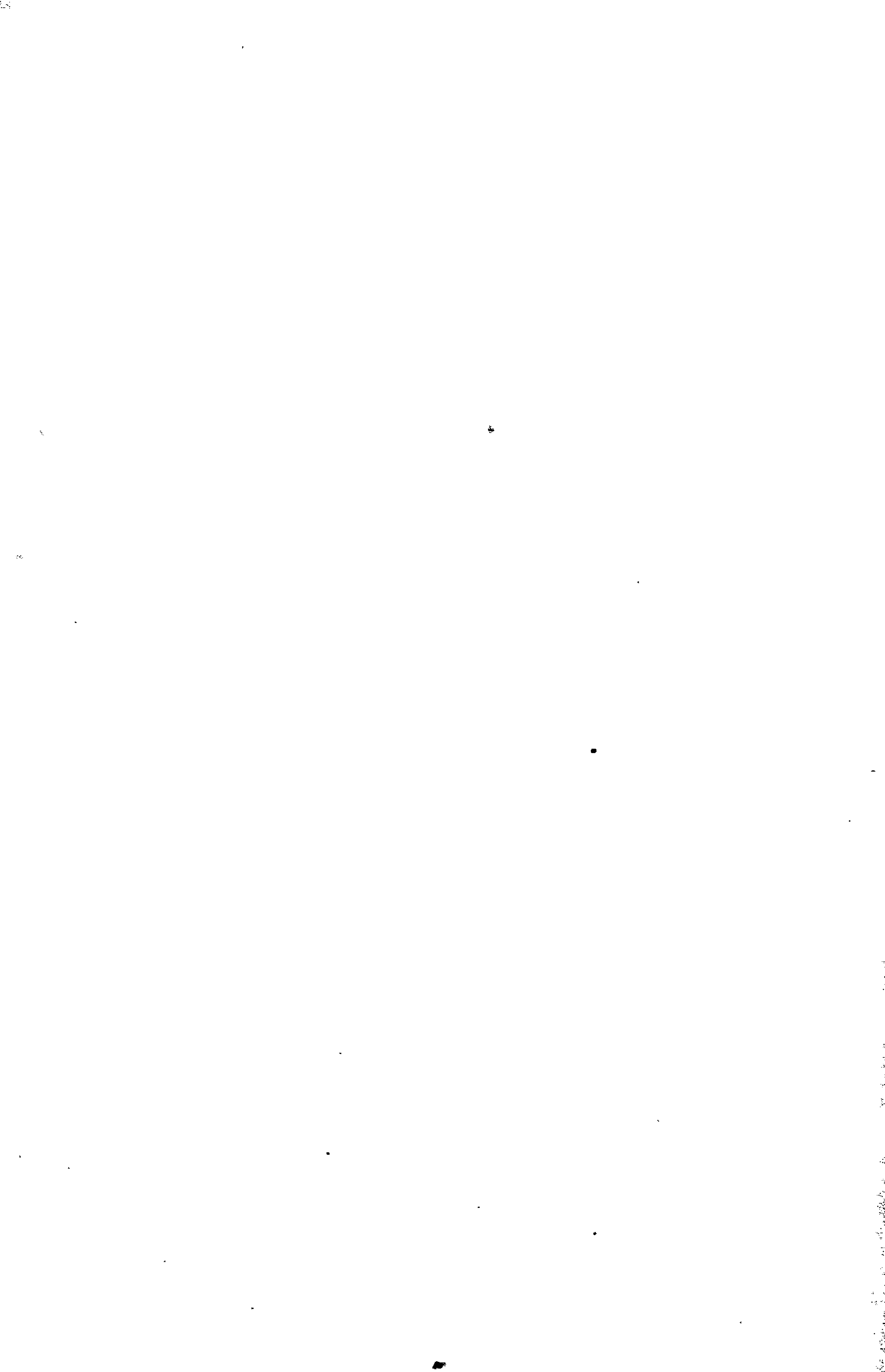
дышами. Под горой протекал Днепр. Анатолий приехал на челне из-за Днепра и поднялся на гору, когда вдали за горами уже поднималась огненная луна. На условленном месте Лизы не было. Анатолий сломил старое дерево, разложил костер и лег около него. Костер загорелся быстро, палевыми огнями, в черное небо полетели золотые искры. Днепр потонул во мраке. Анатолий лежал против костра, смотрел на огонь и думал — о весне, о молодости, о Лизе... Надо было сегодня встретиться во что бы то ни стало, челн ждал под обрывом. И тогда неслышно к костру подошла Лиза, в белом платье, сама молодая, как весна. Красные отсветы костра делали ее смуглое лицо“ — —

Написав этот абзац, старик задумался, опустилась рука с пером, глаза стали пустыми так же, как днем в Лосино-Островском лесу, — пустыми и беспредельно-добрыми, милыми, всепрощающими, — а рука с забытым в пальцах пером была старческой морщинистой, неопрятной, с грязными ногтями и с грязью, въевшейся в поры. Под дефевой электрической лампочкой на столе, рядом с рукой и рукописью, лежал черствый огрызок черного хлеба. Этот старик, мой друг, писатель не был талантливым писателем, революция его не печатала, — он писал только для себя, в стол для смерти...

... Вечером я прочту этот мой рассказ Ольге и Феде, и пусть они скажут мне, правильно ли сделал я, расплескав мое тесное время этим рассказом. Я же — сказал уже, что словами — беременею я и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности найти темного угла, чтобы разродиться — —

24 дек. 1924.

ОЧЕРЕДНЫЕ РАССКАЗЫ



ОЛЕНИЙ ГОРОД НАРА

„Луна посыпала росу“ — „полный месяц—длинный вечер,—ветер и луна — знают друг друга“: эти фразы подслышаны мною у японцев. И те вечера в Наре были очень лунны.

Тысячу триста лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина и сосновое — кажется — светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка и населен, кроме богов, памяти и людей, — теснее всего населен священными оленями, в честь которых — в сосновой тишине парка, под сосновым солнцем — многие уже столетия стоят храмы.

В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени, и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Будды Дай буцу, лотос под Дай буцу в шестьдесят девять футов окружностью, высота его в пятьдесят три фута, и усмешка его хранит непонятность всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длинными горными тоннелями, — и вокруг города — горы, в зелени лесов сначала, а выше, там — в холоде камней. Сосновая тишина, олени да боги — горный ветер, бег оленей, да буддийские колокола — нарушают тишину этого города.

И в этом городе, около парка, над озером японцами для американцев построен отель — Нара-хотэру, — для тех

американцев, которые на эмпрессах в шесть месяцев путешествуют вокруг Земного шара, чтобы осмотреть за этот срок мировые достопримечательности. Отель построен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми дурами, покойнейших гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего Шара, вплоть до русских „Известий“ и „Красной нови“, — и, хотя и написано в справочнике, что „комнаты (по-американски) 7,50 иен и дороже за сутки“, — дешевле четвертного сутки там не получают.

Я приехал в Нару, чтобы подслушать ее тишину, я поселился в Нара-хотэру, чтобы побывать в быте „эмпрессов“, — и я поехал один, без переводчиков и друзей, — чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. Со мною была Ольга Сергеевна, человек, с которым я умею молчать. За моим окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы, к храмам, — оттуда шли звоны буддийского колокола и было совершенно верно, что „ветер и луна знают друг друга“, потому-что с гор в эту майскую ночь дул холодный и какой-то пустой ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Шопотом, по-русски, я порадовался, нашед „Красную новь“. Кроме нас, в читальной сидели двое: я решил, что он швед, а она — француженка. Я листал „Красную новь“, — и я увидел, что швед взял „Известия“.

— Вы говорите по-русски? — спросил я.

— Да, немножко, — ответил он.

В первые десять минут мы с удивлением узнали, что оба мы писатели, — он передал мне свою визитную карточку: П. Г. — он был еврейским — из Америки — писателем, — американо-еврейским. Почти тридцать лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять, в тот ветер, который знает луну.

— И три моих нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими двумя прекрасными человеками, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне — и скорбью и нежностью. Не существенно, что оба они писатели, что она похожа на француженку, а он на Гведа: существеннейшее мне — человечность.

Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине, полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком, неизвестными мне тропинками, — и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, — но спички тухнули в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые, — как булавки, растягивающие шелк на пальцах, чтобы на Гелке шить кружева, — устанавливают человеческие отношения. — Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад, да, серые его глаза были усталы и печальны и очень медленны. Она же, миссис Г., — была молода, черно-волоса, обильноволоса и очень красива, и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-американски ко сну часа просидели мы на веранде, в синем лунном мраке и в ветре с гор, четверо в этом странном городке, мы двое в десятке тысяч верст от родины и от людей общего языка, они двое — —

Они двое изъездили весь Земной Шар. Они были в Кап-тадте, в Австралии, в обеих Америках. Сейчас они покинули Америку в 1924 году, пробыв год в Мексике, пять месяцев они плавали с грузовым пароходом по островам Тихого океана, — теперь они в Японии, осенью они в Китае, весной в Индии, новой осенью в Палестине, — в январе 1928 года — в России, в Москве. Мистер Г. сказал мне, что всегда, с первых же слов знакомства, он говорит о своей национальности, потому что очень многожды раз было в его жизни, когда, — по быту его жизни, по его наружности, костюмам и манерам, по тем отелям, где они останавливались, — часто не узнавали их национальности и, узнав, очень часто, делали вид, что — их — не узнают. Мистер Г. сказал, что они путешествуют одни, у них никто нигде не остался и не ждет их, — он никому не пишет писем, кроме корреспонденций своей газете, — нигде никто не ждет их и они могут путешествовать сколько угодно. Миссис Г., рождая заново слова, говорила, глядя на луну, о ночах в Африке, в Австралии, в океанах. И в полночь в Наре отбивают тишину буддийские колокола. Полный месяц знает длинный вечер.

— На три дня я поехал в Нору, чтобы одиночествовать: — эти люди так, как я в Наре тремя днями, одиночествовали, одиночествовают — многие годы!..

И наутро, в сосновом солнце, — заботливейшей нежностью, сердечностью и внимательностью встретили нас эти люди. За табль-д'отом мы приказали сдвинуть наши столики, — и у меня был отец, который заботился, чтобы я хорошо ел, — именно отец. На — и дамы чуть-чуть териблствовали за брекфестом и сейчас же после завтрака побежали в кустарную лавочку при отеле рассматривать игрушки, плати — ки и покупать Tout a fait japonise. Мы, мужчины, сели в кресла на террасе, над озером, в сигарном дыме, в должном для американцев покойствии и

благочинии, пока не пришли наги дамы. И вернувшись Ольга Сергеевна шепнула мне о своем смущении, потому что миссис Г. вела себя так, точно хотела всю лавочку перекупить и подарить Ольге Сергеевне. В американском покойствии и в сигарном дыме мы, мужчины, вели совсем не американские разговоры, потому что мистер Г. спрашивал меня о евреях в России, и всей искренностью я говорил об этом распепеленном народе, — всей искренностью и всей той осторожностью, которые я мог собрать, ибо мне скоро стало ясным, что для мистера Г. вопрос о судьбах еврейского народа и о судьбах его в России — гораздо существеннее, чем вся его жизнь. Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности, в откровенности же кроется и искренность и честь. Если нервы человека представить березовой берестой, сворачивающейся на огне, если представить, что эта береста будет выправляться, как ослабнет огонь, то передо мною в то утро сидел человек, нервы которого были похожи на березовую бересту. Словами своими — отцовски — он гладил меня по голове, этот седой человек с усталым лицом шведа и еврея одновременно, с сердцем, как береста. Мне хорошо было чувствовать себя сыном, но, как часто сыновья, я чувствовал себя сильнее отца...

Этот испепеленный народ, рассеянный по миру, испытывающий чужу строительства социализма в Союзе республик моей родины, — этот седой человек с бритым лицом философа, писатель и пророк этого рассеянного народа, отец, который не судит, но хочет знать, — только знать для того, чтобы иметь мир, чтобы иметь покойствие за свой народ, — этот человек, который бродит по миру от одного отеля к другому, который не имеет родственников и говорит на всех языках мира, — человек узнавший, что истины возникают всюду, даже в мерзости погромов...

На—и дамы давно уже с русского языка пере—ли на французский, чтобы сообщить друг другу об улицах, делах и событиях — событиях их дел — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Мехико, Токио.

Мы пошли в парк, к храмам, к стадам оленей, в сосновую тишину, в сосновое солнце, — я узнавал, что вон тем часовням на горах — пятьсот лет. О ти—ине парка и о Дай буцу я написал уже. Теперь я хочу говорить о другом. Мистер Г. повел меня в чащу деревьев, куда не заходят люди. Он не предупреждал меня ни о чем.

— Вот, смотрите на этот куст. Что вы видите? — спросил он.

Я ответил, что я ничего не вижу.

— Присмотритесь.

Я присмотрелся и ничего не увидел. Тогда он мне показал, что одна из веток этого куста — искусственная — она сделана пауком, сплетена сеть паука и на нее паук натаскал кору.— Он повел меня к другому кусту. Прутиком он снял паука, тот побежал, — его же паутиной запутал его мистер Г. Этого паука мы посадили в чужую паутинную сетку.

— Подождемте, — сказал мистер Г., — этот паук сильнее, он прогонит хозяина. Сначала они будут драться, затем хозяин убежит.

Имя писателя Г. мне было известно до встречи с ним, его надо поставить в ряд с еврейскими писателями Перетцем, Шоломом Алейхемом, Бяликом, — мистер Г. сказал смущенно, наклоняясь к пауку:

— Кроме моих повестей и пьес, вот уже двадцать лет я пишу книгу о пауках, о их быте, их разуме, их особенностях. Я знаю больше тысячи видов пауков. Всюду, куда бы я ни приезжал, — сюда, в Австралию, в Аргентину, я разыскиваю пауков и слежу за ними, пишу их дневники. — Мистер Г. прочел мне маленькую лекцийку

о пауках, которую восстановить я не могу, потому что я не знаю ни паучьих пород, ни паучьей литературы, ни утверждений различных паучьих ученых.

Но—вот: все три мои дня в Наре, каждый день я ходил с мистером Г. на его паучьи экскурсии, утром, в полдни, вечером (с электрическим фонариком),—и в этом древнейшем городе, который тысячу триста лет тому назад был японской столицей, а ныне существует для сосновой тишины, город единственной архитектуры, город для священных оленей, — в этом городе — я увидел гораздо более таинственное, чем многосажженный Дай буцу, — таинственную жизнь паучих пород, — и таинственную, и жестокую, и трагическую, где самки поедают самцов в тот час, как самцы оплодотворят их, где сильный побеждает слабого в открытом бою, где слабый, но хитрый (или умный), побеждает сильного, но глупого, где нет никакого равенства, где справедливость строится на силе и все судится единственным судом — смертью. Утром, днем и вечером, в чащах города Нара, на стенах нашего отеля, в полумраке храмов — руками и умением мистера Г. — я прикинул к этому таинственному, — живущему, чтобы жить, вопреки бытию муравьев, пчел и человека, — живущему страшным одиночеством, разбоем, смертью.

В час мы ленчили, после ленча мистер Г. и я, мы сидели по своим комнатам за бумагу, наши дамы пропадали по своим делам, в пять часов мы сходились к чаю и после чая шли в сосны города, вечером поднималась луна, которую знает ветер. Приходил японский июнь, месяц плесеней, и однажды на Нара спустились облака, точно Нара, святой город, со всеми нами и нашими грехами поднялась на небо.

Так прошли эти три дня, которые в памяти моей священный город Нара смешали с волчьим бытом паучьих тайн и которые заглушены сосновой тишиною и сосно-

вым солнцем. В сумерки, перед динером, мистер Г. всегда в читальной читал газеты и книги. Он сидел около зеленого абажура, наклонив голову, подперев ее ладонью,— я следил за ним: по десятиминутиям лицо его было неподвижно, и не мигали даже глаза, очень усталые его глаза. — Миссис Г. была молода, красива, черноволоса, женщина, воспитанная по-американски, свободная и достойная. Я мужчина: ничего не попишешь, — кроме того, как я воспринимаю людей, каждую женщину я воспринимаю еще и по-мужски. Вот, эта женщина, которая за мужем бродит по всему миру, молодая женщина, у которой все впереди. Был вечер, вчетвером мы возвращались с пауков, я подал руку миссис Г., чтобы помочь ей войти на мостик: я ни в какой мере не хочу оскорбить ее память,—вдруг тогда, когда она ступала на мостик, мужски я понял, как прекрасна эта женщина. — Она писала стихи: в тот вечер я попросил ее перевести мне ее стихи и прочитать их мне на языке их возникновения, древнем еврейском. — Это были ночные, лунные стихи; миссис Г. сложила балладу о своих волосах, об обильных черных волосах, смолистых, которые распущены и в которых под луною отражается синий свет луны, которые синеют в лунном свете. — В сумерки, в читальной я присматривался к лицу его, ее мужа, этого человека, которого я принял, как отца, который бродит по миру из края в край, которого я стеснялся спросить о том, почему у него нету своего дома, но бродит который совершенно по-американски, твердо рассчитав, что в Москве мы встретимся в январе 1928 года, — человек, который пишет книгу о пауках—не для печати. Лицо его было очень устало, не физической утомленностью, но усталостью раздумий... а образ стихов миссис Г., тот, что под луной волосы светятся, как в море,—я никогда не забуду...

...„Полный месяц — длинный вечер“ — „луна посыпала росу“ — „ветер и луна — знают друг друга“... — Мы расстались с Г. в городе Киото, куда Г. поехали нас проводить. Мы спустились с нарских гор к долинам Киото, этого города императорских замков и дворцов, монастырей, музеев и храмов, города микадо эпох феодализма, уделов и Токугава, — и Киото встретил нас плесенными, теплыми, как в бане, японскими дождями. Дождь лил весь день, все сумерки, всю ночь, проливной дождь, стена воды. В киотском отеле можно было скинуть американство. Это был вечер расставания, мы собрались попросту в моем номере, все четверо. Мне было ясно, что этим людям со мною хорошо — не только по причинам, зависящим от моей индивидуальности, но и просто — даже, сколько это ни свинственно — потому, что первые фразы, когда мистер Г. подчеркивал свою национальность, для меня не могли, как для многих европейцев, стать поводом к тому, чтобы перестать кланяться. — Мы сидели в моем номере, таком, который заключил в себе всю неуютность всех гостиничных номеров мира. За окнами лил дождик, удивительнейший, — за окнами лежал замковый, музейный, храмовой Киото: мне стало понятно, почему так в чести у японцев лаковые изделия, — в этом дожде этот город был построен из серого мореного дуба и залакировано было все, небо, камни мостовых, дома, храмы, парки, лебеди за окном моего номера, около канала в садике.

В этом номере, таком же, как номер в любом городе мира, мы прощались. Мистер Г. подарил мне парчовую книжечку для записи памятей, — и он первый написал мне в нее, на древнем своем языке:

„Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь

в России облегчит мне мои тяжести и такая надежда растет во мне, когда я говорю с вами, Борис Пильняк“...

Мы усаживались встретиться в Москве, в январе 1928 года.

И тогда я спросил, о том, что раньше я стеснялся спрашивать. Я спросил, почему он так ссудил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и идет с ним по номерам гостиниц Земного Шара? — почему он так бродит по миру, вдвоем с женою.

Он мне ответил:

— Я езжу по свету не потому, что я приезжаю, а потому, что я уезжаю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидеть невиданное, но потому, что я не могу видеть знакомое.

Он помолчал. Он сказал:

— Нету места в мире... — и не кончил своей мысли. ...Я постыдился спросить о пауках. Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей. Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал в свою новую книгу памятей:

„Как велик Земной Шар — как мал Земной Шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары, завтра я буду в Кобэ, — а там — просторы Великого океана, великие просторы“...

Да. Нара же — единственный в мире город, переставший быть городом людей, ставший городом оленей.

13 ноября 1926.

Москва, на Поварской.

РАССКАЗ О ТОМ, КАК СОЗДАЮТСЯ РАССКАЗЫ

I

В Токио случайною встречей я встретил писателя Тагаки-сана. В одном из литературных японских домов меня познакомили с ним, чтобы больше мы никогда не встретились, — и там мы обменялись немногими словами, которые я забыл, запомнив лишь, что жена у него была — русская. Он был очень сибуй (сибуй — японский шик — оскоменная простота), — оскоменно просто было его кимоно, его гэта (те деревянные скамеечки, которые носят японцы вместо бамаков), в руках он держал соломенную ляпу, руки у него были прекрасны. Он говорил по-русски. Он был смугл, низкоросл, худощав и красив, — так, как могут быть красивы японцы на-глаз европейца. Мне сказали, что славу ему дал роман, где он описывает европейскую женщину.

Он выветрился бы из моей головы, как многие случайно встреченные, если бы — —

В японском городе К., в консульском архиве я наткнулся на бумаги Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, ходатайствовавшей о репатриации. Мой соотечественник, секретарь генерального консульства товарищ Джурба повез меня на Майю-сан, в горы над городом К., в храм лисицы. Туда надо было сначала ехать автомобилем, затем элевейтором, — и дальше надо было идти пешком тропинками и лесенками по скалам, на вершину горы, в ча-

щи кедрового леса, в тишину, где тоскливейше гудел буддийский колокол. Лиса — бог хитрости и предательства, — если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Во мраке кедров, на площадке скалы. три стороны которой падали вниз обрывами, стоял монастырообразный храм, в алтарях которого покоились лисы, Там было очень тихо, и оттуда — ирочайший открывался горизонт на цепи горных хребтов и на Великий океан, в бесконечности горизонта уходящий в ничто. — Все же неподалеку от храма, еще выше в горах, откуда видна и другая сторона горной цепи, мы нашли трактирчик с холодным элем. Под эль, под шум кедров и над океаном — очень не плохо могут беседовать два соотечественника. И тогда мне товарищ Джурба рассказал ту историю, ради которой я вспомнил писателя Тагаки и ради которой я пишу этот рассказ.

Тогда там на Майю-сан я думал о том, — как создаются рассказы и о том, что очень трудно убить человека, но гораздо труднее пройти через смерть, так преуказала биология человека.

Да: как создаются рассказы? —

Вечером в тот день я вырыл бумагу, где София Васильевна Тагаки-Гнедых изложила свою биографию со дня своего рождения, неправильно поняв правило о том, что репатрирующиеся должны дать автобиографическую справку. Биография этой женщины — для меня — начинается с того момента, когда корабль пришел в порт Цуруга, — биография необычная и короткая, выключившая ее из тысяч биографий провинциальных русских женщин, живописать которые следует по статистическому — номографическому — способу, выборочной описью, ибо схожи они, как два лукошка — лукошка первой любви, обид, радостей, мужа и ребенка для пользы отчества и очень немного прочего...

II

В моем рассказе есть он и она.

Во Владивостоке я был однажды, в последних числах августа, — и навсегда я запомню Владивосток городом в золотых днях, в просторном воздухе, в крепком ветре с моря, в синем море, в синем небе, в синих далях, — в черствой той пустынности, которая напомнила мне Норвегию, ибо и там и тут земли обрываются в океан лысыми глыбами камней, одиночествующих одинокими соснами. Существенно говоря, это только прием — описаниями природы дополнять характеры героев. Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, родилась и выросла во Владивостоке.

Я пытаюсь представить — —

она окончила гимназию, чтобы стать учительницей, пока не придет жених: и была она такою девушкой, каких тысячи было в старой России. Пушкина она знала, должно быть, ровно столько, сколько требовалось по программе гимназии, и наверное она путала понятия слов — этика и эстетика, как и я однажды спутал их, щегольнув в сочинении о Пушкине, написанном в шестом классе реального. И, конечно, она и не знала, что Пушкин начинается как раз за программой гимназии, точно так же, как ни разу она не задумалась о том, что люди свой аршин пониманий считают нормой всему, когда все, что выше и ниже пониманий, кажется человеку глуповатым или просто глупым, если сам этот глуповат. Чехова она прочла всего, потому что он был в приложении к Ниве у отца, — и Чехов знал, что эта девушка, „прости, господи, глуповата“. Но, коли на память приел Пушкин, то эта девушка могла быть (и мне хочется, чтобы так и было), — могла быть — глуповатой, как поэзия, как и подобает осьмнадцати годам. Она имела свои понятия: — красоты

(очень красивы японские кимоно, как раз те, которых не носят японцы и которые производятся японцами для иностранцев), — справедливости (когда справедливо она перестала кланяться прапорщику Иванцову, разболтав ему об их свидании), — знаний (когда в чемодане знаний лежало убеждение, что Пушкин и Чехов — великие писатели, — во-первых, необыкновенные люди, — а, во-вторых, теперь перевелись, как мамонты, потому что теперь ничего необыкновенного не бывает, ибо пророков нет не только в отечестве, но и в своем времени)... Но, если писательские условности описаниями природы дополнять характеры героев — могут жить на бумаге, — то пусть эта девушка, во имя глуповатой, прости, господи, поэзии, будет четка и прозрачна, как небо, море и камни дальневосточного российского побережья.

Свою автобиографию Софья Васильевна исхитрилась написать так, что ни по консульской линии, ни по моей — выудить оттуда многого невозможно, кроме недоумения (для меня, к слову сказать, не очень большого), — недоумения в том, как ухитрилась эта женщина пройти мимо всего, чем жили мы в эти годы. Как известно, японская императорская армия была на Дальнем российском востоке в 1920 году за тем, чтобы оккупировать Дальний восток, — и известно, что изгнаны были японцы партизанами: ни словом об этом не упоминается в биографии.

Он — был офицером генерального штаба императорской оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, где снимала комнату и она: в Сибири употребляется вместо слова „квартировал“ слово — „стоял,“ — они стояли в одной квартире.

Вот выписки из биографии —

„...его не называли иначе, как „макака“... Все очень удивлялись, что он два раза в день принимает ванну, но-

сит шелковое белье и на ночь надевает пижаму... Потом стали его уважать... Вечерами он всегда сидел дома и вслух читал русские книги, стихи и рассказы незнакомых мне современных поэтов, Брюсова и Бунина. Он хорошо говорил по-русски, только с одним недостатком: вместо л произносил р. Это и послужило поводом для знакомства: я стояла у двери, он читал стихи, а потом стал тихо петь:

Дышала ночь...

я не удержалась и рассмеялась, а он открыл дверь, так что я не успела пройти мимо, и сказал:

— Извините, невежливо, пригласить мадемуазель. Разрежьте мне визитировать вас.

Я очень смутилась, ничего не поняла, сказала — „извиняюсь!“ — и прошла к себе. А на другой день он пришел ко мне с визитом. Он подарил мне очень большую коробку шоколадных конфет и сказал:

— Я просиру разрешения визит. Пожалуйста шоколаду. Какое ваше впечатление погода?..“

Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями, совсем не то, что прапор Иванцов, который назначал свидания на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не заманивал после театра в кафе. Соня Гнедых написала маме письмо об этих серьезных намерениях офицера, — в биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись у ней, офицер вдруг померк, лицо его полиловело и глаза налились кровью, — он сейчас же вышел из комнаты, — она поняла, что в нем вспыхнула страсть, — а она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово чужой человек. „Но потом именно эти вспышки страсти, которую он умел так сдерживать, стали распалать мое женское любопытство“. Она его полюбила. — Предложение он сделал — по-тургеневски, в мундире, в белых перчат-

ках, в праздник утром, в присутствии квартирохозяев. Он отдавал свои руку и сердце — по всем европейским правилам.

„Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просит меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне, а до того времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил полторы тысячи иен и поручительство, что я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие...“

По всему Дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев, — японцы ловили большевиков и убивали их, иных сжигали в топках крейсеров, стоявших на рейде, иных расстреливали и сжигали в морге, построенном на одной из сопок, — партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожать японцев, — Колчак и Семенов умерли, — москвиты валились великою лавою, — ни строчкою об этом не обмолвилась Софья Васильевна.

III

И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она ступила на землю Японского Архипелага, — биография, утверждающая законы больших чисел — статистическими исключениями.

Я не был Цуруга, но знаю — что такое представляет из себя японская полиция, полицейские, которых сами японцы называют — ину — собаками. Ину действуют деморализующе, потому что они торопятся, неизменно говорят по-русски, опрос чиняг начиная с имени, отчества

и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют — „японская поринция все хосит знать“, — и клещами вытаскивают — „церь васего визита“. Вещи японская полиция перетряхивает по способу синоби, японской науки сыска, — не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нету ни одного европейского дома и лишь одни шалаки домов японских, порт, пропахший, должно быть, каракатицей, которую потрошат, жмут (на предмет выработки туши) и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят — „поди сюда“, — в Цуруге значит — „уйди от меня“, а лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода скрывать свои переживания — всеми способами, даже выражением глаз.

Софью Васильевну, должно быть, спрашивали — „церь васего визита“, а имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко: „Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию? — Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что, если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть“.

В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки-сан, ее жених. Она видела его через окошко, он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно: он сказал, да, она его невеста. Ему предложили отправить ее обратно, — он отказался. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан: он это знал. Тогда и его и ее отпустили. Он по-тургенев-

ски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он „немножко занят“. Он скрылся во мраке, поезд ушел в черные горы, — чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности, непонимающая. В вагоне было очень светло, все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было странно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины, стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочистской и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потухнул свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь, в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном, в крапинку, кимоно, на деревянных скамеечках, — и этот человек очень обидел ее, он зашипел кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки: она не знала, что он здоровается по японским правилам, она готова была броситься в объятия к родственнику, — он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил, громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в ресторан, где им подали английский брекфест; она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он неукоснительно, касаясь рукою ее плеча, указывал, что надо ей делать,

не произнося ни звука, изредка улыбаясь. После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее: она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении, жестом она указала, чтобы он вышел, — он не понял и стал мочиться.

Затем они сели в новый поезд, он купил ей „бенто“ (завтрак в сосновой коробочке), кофе — и он вставил в ее руки, первый раз в жизни, палочки, чтобы она ела.

В сумерки они сошли с поезда. За вокзалом он посадил ее на рикшу, кровь залила ее щеки от того нестерпимого, что переживает каждый европеец, впервые садящийся на рикшу, — но своей воли у нее уже не было. Сначала тесным городом, затем тропинками и кедровыми аллеями, мимо домиков, скрывшихся в цветах и зелени, рикши повезли их под гору, к морю, залегшему в скалах. Под отвесным обвалом, на площадке над морем, около бухты, в зелени деревьев стоял домик, около которого они остановились. Из домика вышли — старик и старуха, дети и молодая женщина, все в кимоно, — все поклонились в пояс, не подавая руки. Ее не пустили сразу в дом; брат жениха, который встречал ее, показывал ей на ее ноги, — она не понимала; — тогда он посадил ее на приступочку, почти насильно, и расшнуровал ее башмаки. На пороге дома женщины пали перед ней на колени, прося ее войти. Весь дом казался игрушечным, в дальней комнате раздвинута была стена, широчайший открывался вид на море, на небо, на скалы, срывающиеся в море, — домик этою стороной подходил к обрыву. На полу в комнате стояло множество мисочек на подносиках, и против каждого подносика лежала подушка. Все, и она, сели на эти подушки перед подносиками, на полу, чтобы поужинать.

...Через день приехал Тагаки-сан, жених. В дом он вошел в кимоно, и она его не узнала, этого человека,

который поклонился в ноги сначала отцу и брату, потом матери и только тогда ей. Она готова была броситься к нему в объятия; он задержал на минуту в раздумьи руку, подал и поцеловал ее руку. Он приехал утром. Он сообщил, что он был в Токио, что он уволен из армии и — в наказание — сослан на два года в деревню, ему разрешили отбывать ссылку на родине, в доме своего отца: из этого дома, с этой скалы они не смогут выехать два года. Она была счастлива. Из Токио он привез ей множество кимоно. В этот же день они ходили в участок зарегистрировать брак. Она шла в голубом кимоно, в японской прическе из аржанных волос, — оби — пояс — мешал ей дышать и больно давил на грудь, — от гэта натерлась мозоль на ноге между пальцев: — она стала: Тагаки-нокусан — вместо Сони Гнедых. И — единственное, чем она могла отплатить мужу, любимому мужу, — это была не благодарность, а подлинная страсть, тогда, ночью, на полу, в ночных кимоно, когда она отдалась ему и когда, в передышках от нежности, боли и страсти, бухало приливом внизу море.

IV

Осенью все уехали, оставив двоих молодоженов. Ему из Токио присылали ящиками русские, английские и японские книги. Она в своей исповеди почти ничего не пишет о своем времени. И можно представлять, как по осени дуют с океана ветры, гудят скалы, как холодно и одиноко около хибачи, домашнего камелька, сидеть двоим — часами, днями, неделями. Она уже научилась приветствовать — „о-ясуми-насай“, прощаться — „сайонара“, отвечать на благодарности — „до-итасима-ситэ“, просить обождать, пока она позовет мужа, — „чотто-мато-кудасай“. В свободном своем времени она узнала, что рис, так же, как хлеб,

может вариться многими различнейшими способами и что, как европейцы ничего не понимают в способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба. А из тех книг, что присылали мужу, она узнала, что Пушкин начинается как раз за программу гимназии и что Пушкин вовсе не умер, как мамонт, но живет, жив и будет жить: от мужа и из книг она узнала, что величайшие в мире литература и раздумье — русские. Время их шло строгим деревенским регламентом, чуть-чуть голодным. Муж утром садился около хибачи на полу за книгами, она варила рис и лепешки, они пили чай, ели соленые сливы и рис без соли. У мужа почти не было потребностей; одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, — но она готовила русский обед: утром она ходила в город в лавочки, где удивляло ее очень, что у японцев не продают кур целиком, а отдельно крылья, ноги, спины, кожу. В сумерки они ходили гулять, к морю или в горы, к горному храмику; она привыкла уже ходить в гэта и кланяться соседям так, как кланяются японцы, в пояс, с руками на коленях. Вечерами они сидели над книгами. Многие ночи уходили на страсть: муж был страстен и изощрен в страсти, долгою культурою своих предков, культурою, чуждою европейской, когда в первый день их замужества, его мать, бессловесно, ибо у них не было общего языка, подарила ей эротические картинки на шелку, исчерпывающе изображающие половую любовь. Она — любила, уважала и боялась мужа: уважала потому, что он был всемогущ, благороден, молчалив и все знал, — любила и боялась — во имя его страсти, испепеляющей, всеподчиняющей, обессиливающей ее, а не его. Днями, в буднях муж был молчалив, вежлив, заботлив и чуть-чуть, в благородстве строг. В сущности, она мало знала о нем и ничего не знала о его роде: где-то у его отца была фабрика, шелкообрабатывающая. Иногда к мужу приез-

жали из Токио и Киото друзья, — тогда он просил ее одеваться по-европейски и по-европейски встречать гостей: все же с гостями они пили сакэ, японскую водку, глаза их наливались кровью от второй рюмки, они бесконечно говорили и потом, пьяненькие, пели свои песни и уходили в город до утра. — Они жили очень одиноко, холод бесснежной зимы сменялся зноем лета, море бухало внизу приливами и бурями, и ти-ай-е голубело в отливы: ее дни не были даже похожи на четки, пусть яшмовые, потому что четки можно пересчитать, перебирая их на нитке, как пересчитывают их европейские и буддийские монахи, но дней своих пересчитать она не смогла бы, пусть эти дни я-мовы.

Здесь можно кончать рассказ — рассказ о том, как создаются рассказы.

Прошли год, и еще год и еще. Сылка его была кончена, но еще год прожили они безвыездно. И вдруг тогда в их тишину множество стало ездить людей. Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии. Ей казалось, что люди на них посыпались, как горох из мешка. Она узнала, что муж ее написал знаменитый роман. Множество показывали ей журналов, где сфотографированы были он и она: в их домике, около домика, на прогулке к храму, на прогулке к морю, — она в японском кимоно, она в европейском платье.

Она уже говорила немного по-японски. Она уже приняла роль жены знаменитого писателя, не заметив в себе той перемены, которая приходит таинственно, той перемены, когда она перестала бояться окружающих ее чужих людей и приучилась знать, что эти люди готовы для нее

к услугам и вежливости. Но знаменитого романа мужа она не знала, его содержания. Она спрашивала об этом мужа, — в вежливейшей своей молчаливости он не отвечал на этот вопрос: быть может, потому, что в сущности, это ей было не очень существенным и она позабывала настаивать. Я_мовые четки дней прошли. Бои — лакеи — теперь варили рис, а в город она ездила на автомобиле, по-японски приказывая шоферу. Отец, когда приезжал, кланялся жене сына почтительнее, чем она. Должно быть, Софья Васильевна была бы очень хорошей женой писателя Тагаки, так же, как жена Генриха Гейне, которая спрашивала приятелей Гейне: — „говорят, Анри написал что-то новое?“ —

Но Софья Васильевна узнала содержание романа своего мужа. К ним приезжал корреспондент столичной газеты, который говорил по-русски. Он приехал, когда не было мужа. Они пошли гулять к морю. И у моря, в пустяковой беседе, она спросила его, чем объясняет он успех романа ее мужа и что в романе он считает существенным.

V

... Вот и все. Тогда, в городе К., достав в консульском архиве автобиографию Софии Васильевны Гнедых-Тагаки, на другой день я купил роман ее мужа. Мой приятель Такахаси перевел мне его содержание. Эта книга лежит сейчас у меня на Поварской. Четвертую главку этого рассказа я написал — не фантазируя, но просто перелагая то, что перевел мне мой приятель Такахаси-сан. Писатель Тагаки каждый день за годы ссылки записывал свои наблюдения за женой, за этой русской, которая не знала, что величие России начинается за программой гимназий и что величие русской культуры — этого отъез-

жего поля — в уменьи размышлять. Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных человеческих отправлений, полового акта: с клиническими подробностями был написан роман Тагаки-сана, — русским способом размышлять размышлял Тагаки-сан о времени, мыслях и теле своей жены. — Тогда на берегу моря, корреспондент столичной газеты, в разговорах с Тагаки-но-окусан с женой знаменитого писателя, — открыл перед ней не зеркало, но философию зеркал, — она увидела себя, заживую на бумаге, — и не важно, что в романе было клинически описано, как содрагалась она в страсти и расстройстве живота: — страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее жизнь была материалом для наблюдений, муж пионил за нею в каждую минуту ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством всего, что было у нее. — И она запросилась — через консульство — обратно, домой, во Владивосток. Я внимательно прочитал и перечитал ее автобиографию: вся она была написана и одним человеком, и в одно время, само собою, — и вот: те части автобиографии этой глуповатой женщины, где, неизвестно к чему, описаны детство, гимназия и владивостокское бытие, и даже японские дни, — эти части написаны так же беспомощно, как писались письма одной подруги к другой в шестом классе гимназии и во втором благородных институтов, под Чарскую, по принципу классных сочинений, — но последняя часть, там, где подсчитывалось бытие с мужем, — для этого у этой женщины нашлись настоящие большие слова простоты и ясности, как нашлись у нее силы просто и ясно действовать. Она оставила чин жены знаменитого писателя, любовь и трогательность яшмового времени, — и она вернулась во Владивосток к разбитым корытам учительниц первоначальной школы.

VI

Вот и все.

Она — изжила свою автобиографию; биографию ее написал я, — о том, что пройти через смерть — гораздо труднее, чем убить человека.

Он — написал прекрасный роман.

Судить людей — не мне. Но мой удел — размышлять: обо всем, — и о том, в частности, как создаются рассказы.

Лиса — бог хитрости и предательства; если дух лисы вселится в человека, род этого человека — проклят. Лиса — писательский бог!

Узкое,
5 ноября 1926 г.

НЕРОЖДЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Это — Шпицберген, семьдесят восьмая северная широта, декабрь, ночь на полгода, — радиостанция. Кругом — снег, камни, льды, горы и ночь, такая ночь, многонедельная, седая, когда можно неделями спать. Здесь на метеоро-радиостанции их трое, — вчера похоронили четвертого, — восемь месяцев тому назад похоронили пятого, шестого и седьмого, умерших от цынги. Судно было здесь последний раз год четыре месяца назад: это судно и привезло их. Хоронить, закопать в землю можно только весной, в июле, когда оттаает снег: того, кто умер вчера, положили в брезент и засыпали льдом, чтобы не откопали, не съели собаки. Предполагалось, что они пробудут здесь год; летом судно шло за ними, они менялись радио, но судно не пустило льды; потому что умерли товарищи, и весной они, живые, набрали яиц и набили тюленей, они не голодают, — но бумага у них вышла вся, основная цель их зимовки — запись погоды — нарушена: чтобы не обесмысливались их дни, он, начальник радиостанции, трижды в сутки телеграфирует на Грин-Харбург сводки. Вчера было 24 декабря, сочельник, — вчера похоронили товарища. Вечером — оставшиеся трое — собрались у начальника: они — начальник, рабочий и механик, — все трое они нарядились, и начальник достал пунш и виски, — все трое они были норвежцами, из Тромсэ. К полуночи они были пьяны, в полночь их поздравила

радио-станция Шпицберген,— и тогда начальник ответил:

— „К чорту!“

Они замуравили во льды товарища, они были пьяны, — они сидели молча, потому что все было сказано. Начальник поставил радиоприемник на волны радиостанции Христиания; но в мире в эту ночь все радиостанции сошли с ума, и оттуда, из тысяч верст, где нормально жило человечество, ничего нельзя было изловить, — приходили отрывки концертов, речей, поздравлений, — в арию „Терреодор, смелее, брат“ вмегалась политическая речь „Миллионы рабочих Америки“, — и тогда начальник пустил по всему миру еще раз:

— „К чорту!“.

Здесь, на метеоро-радиостанции, отрезанной льдами и горами от ближайшего человека на сотни миль, сохранились колбы для сифонов, чтобы делать содовую воду; эти трое пили сода-виски; они были пьяны; тогда начальник взял сифон и стал бегать за двоими остальными, поливая их из сифона, точно он стрелял из ружья; и все трое хохотали.

Затем все трое пошли спать. И начальник, немолодой уже человек, грузный, медлительный, видел за часы сна многие, должно быть, пьяные сны. Он видел, что они были в Тромпсэ, все вместе, с семьями, с женами, в ресторане, — и среди них был тот, который вчера умер: этот сон был мучителен, — он, начальник, все время старался, чтобы разговор не касался смерти умершего; как только заговаривали об умершем, он прерывал, переводил разговор на другие темы, чтобы не сделать больно жене умершего, — и каждый раз тогда наклонялся к умершему и шептал ему:

— Тише, тише, ведь жена не знает, что ты умер; фру Виктория, она не знает...

Монтер говорил (тот, что умер в прошлом году): „А помнишь, Эдвард, когда я еще не умирал, мы с тобой ходили на медведя“. — Но начальник перебивал, прыскал из сифона, нарочито хохотал и говорил. — „Хэ, монтер, монтер, — ну, да, ты умер восемь месяцев тому назад, но Эдвард был жив, и он не ходил с мертвецами на медведей“. — И лептал умершему: — „Тише, тише, Эдвард, фру Виктория, она не знает, что ты умер, хэ!“ — И там, в Тромпсэ, в ресторане, они пили шведский пунш.

Начальник проснулся от беспокойства, выпил воды, — подошел к окну. Окно было в толстейших хвощах мороза, — но все же видна была за окном окаменевшая в морозе, мертвая земля и над нею месяц, тот, который светит неделями, — а с другой стороны — столбы северного сияния. Голова, как никогда, была ясна — и, как никогда, отчетливо стал ужас их положения, их мужества, этих троих, умирающих в снегу; он взглянул на себя и на своих товарищей со стороны — тем математически-верным глазом инженера, который у него остался от института, — и ему стало понятно, что и он, и его товарищи — ненормальны, полусумасшедши, у каждого есть свой пунктик, каждый измотан для здоровой жизни и отсюда, со Шпицбергена, переедет первым делом в психиатрическую больницу. Он подошел к радиоприемнику, провел ручкой по всем волноприемникам: все радио мира уже были заняты буднями, передавали сводки телеграфных агентств. Он взглянул на часы: в Европе, в Норвегии, уже светало, на Средиземном море был день, утро. В домике было холодно, ниже нуля; он налил в камин тюленьего жира, зажег его и лег в свой меок. И перед сном, с перепоя, опять пьяно спутались мысли: было похоже на то, что голова его — радиоприемник, куда идут сразу все волны всех радиостанций, — голова закружилась, мысли омаслились, расплились, поползли чер-

вяками, запутались, заплелись в неразбериху, — исчезли, — он заснул.

И во сне он видел:

... кипарис стоит около ключа, заделанного в камни, чтобы из него удобно было брать воду; наверх идет гора, вершины гор в лиловом тумане, вершины гор лысы, опоясаны лесами, в лощинах белые остатки снега; под горою голубое море — голубое вдали и зеленое у берега, в камнях; ко ключу ведет каменистая тропинка, камни в утренней росе, — тропинка идет от ключа вниз к морю; за деревьями рядом, за кипарисами, за цветущими иудейскими деревьями, за ка-танами — мечеть, и там в утренний час востоку кричит муэдзин непонятные слова, похожие на степной крик верблюда; — и солнце над миром, прекрасное солнце, золотое солнце, — и туманы идут из лощин, — и к ручью подошла девушка с кувшином на плече, набрать воды, — и девушка улыбнулась солнцу и морю, и она прикрыла ладонью от солнца глаза, и загоревшие ноги ее были босы...

Утром пришел рабочий, зажег лампу, растопил камин, согрел кофе. Начальник просыпался медленно, долго лежал в мешке. Он спросил:

— Какая температура, влажность, сколько баллов ветра?

— Мороз сорок два градуса, влажность — — сказал рабочий.

Механик пустил уже динамо. Механик сказал в дверь:

— Попался один песец.

Тогда начальник стал быстро одеваться, он не пил кофе, он выпил сельтерской и по-ел к аппарату... — Кто знает, — в полубреду, когда мысли идут ледоходными льдинами, трещат, лезут одна на другую, — не есть ли мозг человеческий испорченным радиоприемником? — И,

быть может, пройдет недолгий десяток лет, когда человечество вместо радиоприемников будет просто включать мозги? — Начальник включил ток высоким вольт, чтобы громче крикнуть в пространства, — и он крикнул:

— Радио-станция Шпицберген, Тромсэ, Христиания. Температура — сорок два градуса жары, зацветают апельсины, миндаль уже отцвел. Ловятся тигры. Солнце светит к чорту — сорок восемь часов в сутки — —

Шпицберген-Грин-Гарбург спросил:

— Какое несчастье случилось? Кто болен?

В полдень радио-станция ответила:

— Температура понизилась, тридцать восемь градусов жары. За сутки родилось четыре человека, вечером ожидается пятый. Новорожденные зарыты в снегу.

Вечером радиостанция Грин-Гарбург телеграфировала:

— У аппарата врач. Сообщите признаки болезни, сколько живых и здоровых людей осталось, какие медикаменты имеются?

Начальник ответил на эту радиотелеграмму:

— „Рабочие России, Италии, Франции, Америки объявили всемирную забастовку, все живы и здоровы, сейчас родится новый, медикаменты останутся для мертвецов“. —

Начальник выключил аппараты, ушел к себе в комнату, разделся, переменял белье, надел все свежее, лег в мешок и застрелился.

На самом деле в этот день утром был солнечный день, шли туманы от моря и в лощинах меж гор, уходили в золотую голубизну горы, кричал муэдзин и к ручью подходила девушка с кувшином на плече, набирала студеную воду, несла ее в домик с плоской крышей, врытый в лиловую гору, около платана. И девушка, быть может, ни о чем не думала, кроме того, что надо поспешить с водой, потом замесить лепешки и пойти на берег, отнести отцу-рыбаку этих лепешек, — и во всяком

случае она никак не думала об Арктике, о сумасшедшем инженер-радиисте, — очень возможно, что девушку ночью в ее сенях донимали клопы — —

...А я, автор, в ту ночь ехал на извозчике с Дмитровки на Поварскую. Извозчик был скверный и молчаливый; молчали, поговорив о стоимости овса. Извозчик, чтобы сэкономить расстояние, пополз Леонтьевским, переехали Тверскую. Я посмотрел на небо, на звезды, увидел Полярную, она была ярка, хотя была полная луна, — и мои мысли зацепились за Полярную и за луну. О Полярной я думал недолго, обо всем том, что написано выше, — но луна заняла меня до самой Поварской; я хотел подыскать слово для луны, такое, которое еще никем не сказано. — Круглая, зеленая, полная, — нет, не так, — сухая, подмороженная, ледяная, — нет, не так, — безразличная, покойная, черствая, добрая, глупая, — нет, нет, не так: поди-ж ты, светит и мне в Москве, и в Мадриде, и в Париже, и на Шпицбергене, быть может, знакомый какой, приятель, глядит на нее из Лондона и обо мне подумал, — луна — как рубль (если луна в море отражается, можно сказать — „рубль луны разменен на серебряные пятаки водою“, — это хорошо сказано, луна, как горшок, — нет, не придумаешь, все сказано), какое слово ни придумай, — все перебрали. Так я и не придумал слова для луны.

Гаспра,
28 мая 1925.

БЕЗ НАЗВАНЬЯ

I

...Очень трудно убить человека, — но гораздо труднее пройти через смерть: так указала биология природы человека.

...Перелесок осиновый, сумерки, дождик. Дождик капает мелкий-мелкий, серый, сырой. Осины пожелтели, шелестят иудами, сыпят мокрые листья. Дорога идет из овражка, в овражке сломанный мост, мочежина. Поле подперло к перелеску, развороченное картошкой. Дорога прошла осинами, колеи набухли грязью, дорога вышла в поле: на горизонте торчит церковная колокольня. Перелесок упирается в настоящий лес, этот треугольник иудиных виселиц. Сумерки, мелкий-мелкий моросит дождик. Облака, должно-быть, цепляют за вершины осин. По мосту, по дороге в осиннике, по картофельному полю — не пройдешь: нога увязнет в грязи по колено. Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, тушевым мраком, и ничего не видно...

И через десятилетия, чрез многие годы всяческих дорог — навсегда в памяти остался этот перелесок в сумерках и дожде, проваливающийся во мрак, в котором ничего не видно: навсегда осталось в памяти такое, где ничего не видно. Вечерами, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом на третий этаж первого дома Советов, того, что на углу Тверской

и Моховой. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИК'а плещется красное знамя: знамени не видно, виден только багровый этот красный цвет в черном небе. И миллионный город несет в этажи первого дома Советов осколки своих рокотов...

II

Все это было двадцать лет назад.

Героев в этом рассказе — трое: он, она и тот третий, которого они убили и который стал между ними.

Этот третий — был провокатором. Этот третий был человеком, продававшим за деньги людей на виселицу, продававшим революцию, ее идеи и ее честь. Он и она вызвались убить этого человека, для которого не было иного имени, кроме мерзавца. Это были дни разгрома революции 1905 года, — и суд над негодяем должен был быть жестоким: побеждаемым не о чем было разговаривать, когда их же брат продавал головы на виселицы, груди под пули и годы человеческих мук на тюрьмы и ссылки, — и разговоров не было.

Она никогда не видела в лицо этого провокатора. Из подполья она поехала в деревню, к деревенскому своему отцу — дьякону. Был июнь месяц. Он — имя его Андрей — приехал к ней в качествах жениха. Всего этого не знал третий, провокатор, не знавший легального имени Андрея. Третий должен был приехать на станцию, лежащую в пяти от дьяконовой деревни, для связи, и встретиться с Андреем в лесочке, что первый направо от шпал, за овражком.

Был июнь месяц. Как, какими словами рассказать о первой любви? — любви, белой, как ландыши, и тяжелой, в весенности своей, как гречневый цвет, той тяжестью,

которой можно перевернуть мир, — любви, не зная ей ничего больше рукопожатия и общих — на мир — вперед — глаз, — любви (и он, и она знали об этом, выверив это двадцатилетием) той, которая бывает (и навсегда остается) единственной. Был сенокосный июнь в коростелиных сумерках: развевались оржаным ветром оржанные ее волосы и обдувал ветер белое ее платье, чуть тяжелеющее от вечерней росы, — и широко был расстегнут ворот вышитой его рубахи, и непонятно, каким образом держалась у него на затылке мятая его фуражка. Дьякон в палисаде, после сенокосного дня, глупейшие нравоучения читал о семейной жизни и в наивной хитрости расхваливал, как купец товар, качества своей дочери. При дьяконе весело они играли во влюбленных. Дьякон уходил в сарай спать. Они шли в поле. И, сколь при дьяконе нежно руку клала она ему на плечо, — в поле здесь шли они на аршин друг от друга, в любви, как мартовские льдинки под ногою, и в разговорах — не ниже, чем о Бокле, хоть старый Бокль тогда уже и устарел.

Ни разу не говорили они о том, что они должны убить.

И пришел день, когда в сумерки он сказал, что сегодня ночью они: должны пойти. В этот день они легли спать с курами, — и через час после того, как улеглись они спать, встретились они за овинами в сосьяке. Попрежнему на затылке была его фуражка, — из мрака возникнув в белом платье, синяя во мраке, подошла она в белом платочке, монашески повязанном. В руках у нее был узелок.

— Что ты несешь?

— Взяла хлеба на дорогу.

И тогда он поправил фуражку на голове, ничего не сказав. Она взглянула на него, наклонив к нему свое лицо. Она выпрямилась, медленно развязала платочек

и бросила в сторону в кусты куски хлеба. Он ничего не сказал.

Сказала она:

— Пойдем.

И они пошли лесною тропинкой, молча. Лес пахнул медами июня, кричал вдали филин, тесною стеною стояли деревья. Они шли рядом, плечо в плечо, молча. Подала ей раз он ей руку, чтобы помочь, и доверчиво брала она его руку. Надо было спешить к ночному поезду, и они шли торопливо, ни на минуту не приходили к нему мысли о том, что он — тем револьвером, что лежит у него в кармане — должен через час убить человека, потому что он знал, что он должен пристрелить гадину, переставшую быть для него человеком. Что думала она — он не знал, как не узнал никогда. Она шла рядом, его единственное, его любовь, его гречишные тяжести, — голова ее в белом платочке была упрямо наклонена, так же, как тогда, когда вызвалась она пойти убить провокатора. — Из леса они вышли в поле. Вдалеке в поле возникли огни станции, и быстрее заспешили они, — он шел впереди, и шаг в шаг шла она за ним. Они подошли к осиновой косе. Шелестели иудинно осины, черной стеной стал за осинами сосновый лес, пахнуло с поля картофельным цветом, — горели в вышине блеклые звезды на пепельном российском июньском небе.

Здесь они остановились. Здесь, в этой осиновой косе, должна была остаться она, он должен был пойти к соснам. Вдали прогумел поезд, отошел от станции. Было еще свободных десять минут. Он сел на траву, около осины. Покорно села она рядом.

— А правда, не плохо было бы съесть кусок хлеба, — сказал он.

Она ничего не ответила.

— У тебя револьвер в порядке? — спросил он.

Она молча протянула руку, в руке зажат был револьвер.

— Ты будешь стрелять, если мне не удастся убить. Если я буду тяжело ранен, ты дострелишь меня, — сказал он.

Она наклонила голову в знак утверждения, ничего не сказав.

Больше они не говорили. Он закурил папиросу, выкурил ее в кулак, крепко отплюнулся, поправил фуражку и встал. Она тоже встала.

Он протянул ей руку. Она слабо сжала его руку, потянула ее к себе — и покойным девичьим поцелуем поцеловала она его в губы, первый и последний раз в их жизни. Вновь поправил он фуражку, круто повернулся и пошел во мрак осин. Прошед уже много шагов, он взглянул назад: он увидел белое платье, ее, побежавшую от опушки вниз в овражек, к мосту, к ольшанику, бежала она широкой решительной побегом. Он пошел дальше, к соснам. Кричали в поле коростели и глубоким покоем шла ночь.

С насыпи в туман овражка, к соснам пошел третий, человек в соломенной шляпе, в пальто. Этот третий пошел к соснам. Этому третьего встретил Андрей.

— Это ты, Кондратий? — спросил третий Андрея.

— Да, это я, — ответил Андрей. — Пойдем.

Они пошли рядом. Андрею показалось, что этот третий идет так, чтобы все время быть сзади Андрея, а когда Андрей клал руку в карман, тот подходил вплотную.

— Что с тобою, Кондратий? — спросил третий.

Андрей ничего не ответил, — отступив шаг назад, выхватил он из кармана револьвер и в упор в грудь выстрелил в провокатора. Тот улыбнулся и сел на землю, беспомощно подняв руки вверх, в правой руке у него был браунинг. Андрей выстрелил второй раз в это улы-

бающееся лицо. Человек ме́ком муки повзвился навзничь. Андрей по́ел прочь, крупными шагами. Так он по́ел шагов сто. И тогда вернулся к трупу, наклонился над ним, толкнул его ногой. Труп поправил неестественно подогнувшуюся ногу, лицо мертвецки улыбалось. Андрей еще раз толкнул его и осторожно, как люди, боящиеся заразиться, стал обыскивать его карманы. В это время к соснам подо́ла она, осмотрела внимательно убитого и Андрея, ото́ла к опу́ке, стала спиной к соснам.

Андрей подошел к ней, она молча пошла вперед. Так они и шли: она впереди, он сзади. Все версты они шли, не отдыхая. Над землею возникал рассвет, багровой зарею покрывался восток, месяц, поднявшийся к рассвету, новую посыпал росу. Восход солнца предупредил торжественность тишины. Ни слова не сказали они друг другу за всю дорогу. Бес́умно они прошли в дом.

III

Никогда боль́е ни слова не сказали они друг другу с глазу на глаз. На утро тогда веселым смехом она разбудила его, доброду́ней́ие глупости говорил дьякон за картофельным завтраком, нежной невестой ластилась она к жениху. Дьякон у́ел, — они остались одни, — и они замолчали. Так про́ло три дня, тогда, когда пережидали они, чтобы замести следы, но за эти три дня даже вести не дошли до их села, — и на четвертый день дьякон отвез их на станцию, перецеловал крепко обоих на перроне, перекрестил, благословил, — и в Москве с вокзала пошли они в разные стороны, ни слова не сказав друг другу.

...Навсегда остались в памяти проселок, перелесок осенний, мост в овражке, картофельное поле. Осины пожелтели, ꝑелестят иудами, сыпят мокрые листья. Все разбухло от осенней грязи, и грязь налипает на сапоги

по колено... Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, и все провалилось во мрак, в котором ничего не видно... — Этот осенний осиновый иудин перелесок остался в памяти не от той ночи, когда он убил здесь человека, ибо тогда был сенокосный, медовый июнь, — но от той, когда он, по странному закону природы, повелевавшему убийце прийти на место убийства, — черными осенними сумерками пришел прокоротать ночь на том месте, где он: убил любовь.

...Осенний переселок, сумерки, дождик, — и потом мрак, в котором ничего не видно... Вечером, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом на третий этаж первого дома Советов. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, — и в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИК'а плещется красное знамя, — то, ради которого погребен в памяти осиновый перелесок.

Узкое,
7 ноября 1926.

Ж У Л И К И

Письмо и повестка пришли одновременно, привезли их вечером. — Пусть прошло семь лет с того июльского дня, когда в селе, — в сенокосном удушьи они, она и он, ходили в церковь венчаться и поп все посматривал в окно — не пойдет ли дождь, не опоздать бы ворошить сено; тогда он настаивал на церкви, и она, стоя под венцом, все хотела собрать мысли и перевспомнить всю свою жизнь — и не могла, следила за батюшкой и за тучей на горизонте: и, правда, пошел дождик, и батюшка из церкви побежал в поле, копнить... — пусть прошло семь лет — пусть сейчас вечер: не могли не поникнуть и руки, и голова, и вся она, — именно потому, что время идет, время уносит, ничего не вернешь, все проходит. У женщины в тридцать семь любовь, многое — позади: у мужчины в тридцать семь — только разве замедлились чуть-чуть движенья дней и вечеров.

Регить надо было-б правильно и просто — так, что письма и повестки из суда, где стоит казенное слово „ответчица“, не было: — все кончено без судов, кончено временем, и его правом сильного, и ее гордостью, — и надо было бы вновь взять ведро и пойти к колодцу за водой, и полить рассаду (огромная радость сеять в земле и видеть, как возрастает тобою посаженное!): — заспешила, вспомнила, какие тряпки в чемодане надо отобрать, что взять с собою... — пусть стрижи за окном летают, обжигают воздух так же, как каждую весну: все — пусть!

Что же, у нее есть труд, у нее есть труд впереди, есть заботы, у нее будут вечера, — надо жить: надо жить!

Сторож Иван, — он же кучер, он же дворник, он же: — ну, как каждый день не ругать его, когда ему говоришь про Фому, а он отвечает Еремой?! Он сказал, что пароход проходит теперь на заре, надо выехать с полночи И в полночь Иван потащил по грязям на телеге — полями, просторами, непокойным рассветным ветром; рассвет отгорел всем земным благословением; а на берегу узналось, что пароход будет только к вечеру: Иван покряхтел, помотал головой, и уверив, что скотине дома никто без него толком не задаст, уехал обратно. На воде, у берега стояла мертвая конторка, на горе прилепилась изба. На пороге избы сидела баба. Бессонная ночь вязала движенья и нельзя было додумывать мыслей.

Баба от избы покликала, сели рядом, на пороге.

— Вы, что же, сторожами здесь живете?

— Муж мой лесным сторожем служит. Сами мы дальние. Детей у меня четверо, четыре сына.

И так и запомнился этот день — пустой, с пустой конторкой, с избой над рекою, — и со счастливой женщиной. К полдням все уже зналось, — что эта баба счастлива, что она и ее муж хохлы (так сказала она), киевляне, — что муж ее тихий и добрый человек, двадцать лет служил у немца-колониста, и немец любил его за доброту (немец иной раз и бивал мужа, но муж был добрый, незлобивый, — не сердился, а немец любил: даже корову собственную разрешал держать), — что на Украине у нее дочь, замуж вышла, детей народила, внучат; старший сын ее теперь тоже лесником служит, женился было, да неудачную жену себе взял, все с другими мужиками бегают, — собирался было разводиться, пошли в волость расписываться, но в волости затребовали рубль — есть

гривен: — так и не развелись, денег жалко; остальные три сына при отце живут, один комсомолец, — а жалования муж получает, слава-богу, восемь рублей на своих харчах. Была эта баба морщиниста, как старый гриб, ходила в красном платке, и была, была счастливой безмерно, всем на этом свете довольной: комсомолец, сын ее, теперь ходил на раскопки, рыли курган, вырывали гроба из веков, — платили ему тридцать копеек в день, дуром валились деньги, — и нельзя было исчерпать бабиного счастья. В избушке на горе было по-малороссийски чисто, выбелено известью, — от русской печи сидеть там было душно и мухи донимали: сидели все время на пороге. Приходили в заплдни муж и сыновья, обедали, посадили и гостью за стол, ели из общей миски щи из свежей крапивы; мужчины были молчаливы, поели, покрестились и легли в тени у дома спать; и гостью отвели спать — в сарай на сено; разбудили к чаю: самовара не было, кипятили воду на костре, у костра и попили чаю; отец взял винтовку, пошел в лес, сыновья пошли по своим делам; и опять старуха говорила о счастье, о том что муж незлобивый, ему и в морду можно дать. Послеобеденный сон скомкал время, баба говорила тихо и внимательно, и казалось, что изба эта, и эта баба, и ее дела, и сыновья, и муж — известны с испокон веков, и не было сил — хотя бы внутренно бунтовать против этого бабиного счастья: все было все равно.

И в этом безразличии отсвистел пароход, потащил мимо сумеречных берегов, в соловьином крике, в плеске воды под колесами. И безразлично прогел уездный городишко в пыли, где надо было пересаживаться с парохода на поезд. На минуту странным показалось на утро, что вчера поля и деревья были зелены, а нынче здесь, где мчал поезд, было еще серо. И вечером была Москва. Ничто не заметилось.

И новой ночью в номере на Тверской опять логически ясной стала нелепость приезда: были, любили, разошлись, ей никак не нужна выписка из постановления суда о том, что — „такой-то районный суд слушал и постановил“ — быть ей свободной от прежних морозов и зацветать для новой любви, — новой любви у нее не было; новая любовь была у него, — но и о ней она ничего не знала, ибо его не было около нее вот уже три года. Что ей? — что же, она агроном, она горда!.. — и она горько плакала этой ночью, первый раз за эти дни.

В суд надо было явиться в 11, и она пришла без пяти одиннадцать. Он встретил ее в дверях, пошел навстречу, улыбнулся дружески, сказал:

— А я думал, что ты не придешь, стояло по пустякам тащиться, я бы прислал тебе выпись... — и замаялся, и сказал, о чем писал уже в письме: — мне неприятно было посылать тебе повестку, это глупое слово „ответчица“, словно ты подсудимая. Ну, как поживаешь, как дела?

Ответила:

— Конечно, глупо было приезжать, но у меня скопилось еще дела по службе. Живу попрежнему, много работы.

— Ты где остановилась, когда приехала?

— На Тверской, в гостинице. Приехала вчера вечером.

— Почему же ты не приехала прямо ко мне? Сейчас же после суда поедем, я перетащу твои вещи. Ведь мы же друзья, ведь никто не виноват, Аринушка, милая...

Она ничего не ответила. Он понял, что она не может быть искренней. Но она делала все усилия, чтобы быть простой.

Судья спросил: сколько лет, как зовут, что вы имеете против? — какую фамилию вы хотите носить? — Он, „истец“, сказал: — „Я бы хотел, чтобы ты оставила мою

фамилию“. — Она не думала об этом, она залилась кровью, ей показалось, что ее оскорбляют, — она сказала растерянно:

— Да, я хочу оставить фамилию мужа.

Судья попросил расписаться, объявил, что за выписью из постановления суда надо притти завтра.

— Можно итти? — спросила она судью.

— Да, все уже кончено, — ответил муж.

— Поедем к тебе за вещами.

Они выходили из суда, мимо них провели за штыками арестованных.

— Я поеду сейчас в наркомат, — ответила она. — У меня будет очень занято время. Ты возьмешь завтра выписку, тогда прили ее мне в деревню. Всего хоро-его, — и она протянула руку.

Он не взял руки, он заволновался.

— Послушай же, ведь мы любили друг друга, мы останемся друзьями. Невозможно расстаться так.

— Не забудь прислать выписку, она мне очень нужна. Ну, конечно, у нас нет поводов ссориться. Я просто буду очень занята, — она улыбнулась, тряхнула бодро рукой. — Давай руку.

— Что же, все кончено? — спросил он.

— Выходит так, — ответила она. — Прощай, я спеу.

Она поехала на городскую станцию купить билет.

И в этот же день вечером она ехала обратно. С ней в купэ, в полупустом поезде сидел старик в чесучевом пиджаке, кряхтел, ел колбасу из корзиночки, отрезая мелкими ломтиками, приносил на станциях в чайнике воду. На ночь они оба забрались на верхние полки.

И поздно ночью в купэ пришли двое, забрызганные грязью, в сапогах, в кожаных куртках, с портфелями, — от них пахло распутицей, бессоницей, напряженной работой, бодростью, табаком. Ехали они, должно быть, неда-

леко, — не раздевались, открыли окно, закурили, разговаривали.

Разговаривали они о кооперации, были, должно быть, кооперативными работниками, — говорили о неудачах и победах кооперации, об ее буднях, о ее практической работе, о том, что русская кооперация еще не созрела, чтобы торговать обувью и одеждой, что не удастся также кооперативная торговля мясом, — говорили просто, буднично, чтобы убить время. Потом надолго заговорили о служащих в кооперации, о приказчиках, кассирах, весовщиках, сторожах. Большой процент неудач кооперации они возлагали на неподготовленность кооперативных служащих. За предпосылку, правильную, как аксиома, они брали правило, что каждый приказчик, заведующий лавкой, кассир — жулик, и обсуждали, как этого избежать, или как сделать, чтобы жульничали меньше. Слова жулик они не употребляли, оно вытекало само собою; они говорили, что каждый служащий берет себе и своей семье бесплатно мясо, масло и вообще все, чем торгует (мясная торговля не удастся именно потому, что никак нельзя проконтролировать, сколько вышло фунтов разных сортов мяса из данной туши), что даже у членов правлений есть обычай „христа-славить“, то есть „завертывать“ себе по фунтику того и другого. Один из собеседников рассказывал, что иной раз приказчики проворовываются явно и тогда неизвестно, как с ними поступать: рассчитать, отдать под суд? — во-первых, огласка, а во-вторых, на его место придет второй такой же, а отданный под суд потянет за собой и всех остальных и надо налаживать дело вновь. Вторым доказывал, что прогонять не надо, разве уж в очень редких случаях, — а лучше приказчика держать на такой грани, чтоб он чувствовал, что догадываются, что он жульничает: никому не охота прослыть вором, — ну, его и держать

на этой грани в страхе, как бы не ославился он вором.

Потом они ушли, эти два кооператора, — в ночь, в деревню, на полустанке. Когда поезд тронулся, старик на полке поднялся, свесил ноги, посидел так недолго, слез, чтобы закрыть окно, и вновь сел на полку.

— Не спите? — спросил он. — Слышали, как разговаривали? О том, что у человека честность может быть, — об этом ни слова не сказали. Так, стало быть, и есть на самом деле. Мне вот что непонятно, уж и не знаю почему, — только чужого я никак не возьму и всегда не понимал, как это делается. Слышали, как разговаривали? — не о людях, а о номерах, — об инструментах плохого качества.

И тогда она поняла, что самое существенное в ее поездке — убогое счастье бабы над рекой и этот ночной разговор. Да, жизнь каждого человека связана так, что — не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью, — связанную государственностью, трудом, куском хлеба, — тою же любовью. И, быть может, счастье на самом деле в том, чтоб быть связанным так, когда нет рубля шестидесяти копеек на гербовую марку при разводе, как связана та баба над рекой, — как не связана она. Ей было оскорбительно слушать тех здоровых, что пришли и ушли ночью, от которых пахло весенней распутицей и здоровьем. Жизнь человека — большая обязанность, никак не в его воле, всячески связанная...

Старик напротив, проснувшись уже окончательно, заговорил, хотел поговорить подольше, спросил куда едет, где работает, — обрадовался, узнав, что она агроном, сообщил, что он уездный врач. За вагонным окном

возникал рассвет. Она заговорила с ним, первый раз заговорила за эти дни, — хотела говорить.

Врач рассказал: ездил в Москву, там его дочь выходит замуж за инженера такого-то. Эта была фамилия ее мужа.

Она спросила:

— За Григория Андреевича?

— Да, за него, — ответил врач. — А вы его знаете?

Она ответила односложно и легла на полке лицом к стене, сделав вид, что хочет спать. Он — этот старик — врач — стал врагом: он — вор, он украл...

Когда она слезла с парохода, она увидела, что избы над горою нет, там торчала одна лишь обгорелая печь да несколько недогоревших бревен. И ей рассказали о событии: в этой избе жила семья разбойников, грабивших на дорогах, убивавших людей, семья выселенцев-малороссов, отец, четыре сына, мать. Когда пришла милиция их арестовывать, они стали отстреливаться, стрелял и одиннадцатилетний младший сын и старуха мать; в перестрелке убили отца и четырех сыновей: тогда старуха подожгла избу и умерла в огне.

Иван, говоривший всегда про Ерему, когда с ним заговаривали про Фому, всю дорогу рассказывал подробности перестрелки, ставшие уже легендарными, и всячески поносил разбойников.

Гаспра.

Май 1925.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЕТЕР

I

Десять лет человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера: все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые десять лет уходит с земли из жизни — одна пятая всех живущих на земле людей, десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей; впрочем, в эти же каждые десять лет и приходят в жизнь миллионы людей, рождаются, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами, покойствуют эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями — — И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая комната имеют свой запах — точно так же, как имеют свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетия скрещиваются иной раз — очень часто, и — за эпохами, за событиями городов и стран — ему, этому, данному человеку — морщинки у глаз, запах комнаты — существенней, многозначимей, чем события эпох.

Над каждой страной дуют свои ветры.

У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер тот,

что пахнет человеческим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги и никогда не менялось сукно: это был письменный стол, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, пепел нельзя было сдуть со стола. И за низкими окнами в сад рос бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем, — и этот ветер застрял в его комнате.

И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний, промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечесиной: это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, — что — „люблю, люблю, навсегда, навсегда!“ — были обвалы рассветов, когда в рассветном мире были — солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце, — она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны всем прекрасным материнством мира, — в сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку: ребенок тогда спал, новый Иван. — Все это было. — И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле от удушья человечесины.

Это не был вечер: это была полночь. За окнами лил осенний дождь и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не сменялось. У нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола. Она стояла у дверей.

Она говорила:

— Иван, пойми, это все ложь, прости. Это было навождение. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили друг друга.

Иван Иванович наклонялся к свече и читал медленно, по складам, сотню раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею: — „Николай, это навождение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к одиннадцати, когда все уснут...“

Иван Иванович клал руку с лоскутком к себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по складам:

— Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я навождениями не занимаюсь. И навождение тут тоже не при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели. — Ступай вон!

— Иван! — у нас же ребенок, у нас же сын!..

Иван Иванович сострил:

— У нас же-ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя были жеребцы. — Ступай вон!

И тогда у нее исчезли морщинки у глаз, остались одни глаза, полные ненависти, презрения и оскорбленности. Она прогептала ему, тоже по складам:

— Не-го-дяй! И люблю, и люблю—его люблю, а не тебя!

Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверью. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень унижительно и жалко:

— Аленушка — —

Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь.

Потом на утро баба принесла записку: — „Иван Иванович, будьте добры“, — в записке просилось с посланной отослать вещи — ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их целый день, баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чай и обедать: он не думал о еде, и когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за пазухой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывезти тележку на улицу, на улице он жал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия и она рассудительно говорила, оттягивая руку: — „Мне што, — велят, я принесу, чай у меня ноги свои“. — Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из этого города — куда-то по железной дороге, со всеми вещами, должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве, — через три он узнал, что у нее родился новый ребенок, мальчик по имени Николай. Фамилия у мальчика была его, — Ивана Ивановича Иванова, — Николай Иванов.

За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков.

II

Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль, — в сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоинство; такие любви неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких любовях нет строительства. — Каждую человеческую жизнь

и каждую человеческую любовь можно отобразить образом: и жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на цыганскую шаль, которую навертели на руку, завихрили, вихрили около ночных, загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развивалась, упала — и упала она в очень мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с нею, потом она отдала его в приют. Семи лет от роду сын Николай узнал муку падучей, там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну, — просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей: впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевавшей родить ребенка (и еще впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой)...

И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях, и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен падучей, — она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все, положенное ей на жизнь, она отжила.

Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана, из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восстановить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле.

Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дортуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранила память о святом — о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось четырнадцать лет и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае (или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться): Николай замечтал об отце. Николай глубоко спрятал в сердце, научившемся прятаться в уютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану длинно и нежно: Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову, и тот ничего не ответил ему — —

(Надо в скобках сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в великую русскую революцию.)

III

Десять лет человеческой жизни — недолгий срок. И десять лет человеческой жизни — громадный срок!.. У Ивана Ивановича Иванова, отца, все больше и больше копилось за продавленным кожаным диваном окурков, — и все по-прежнему лежал город с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Не важно, кем был и мог быть Иван Иванович, преподавателем ли гимназии или земским статистиком: над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем. — И там, в десятилетии, в годах, Иван Иванович помнит письмо от сына Ивана. Его принесли утром, первая строка там гласила: — „Здравствуй, дорогой мой папа“, — и

в тот день Иван Иванович помолодел на десятилетье, запомнил солнце, помнил бурьяны рассветов, половодье лет, — и чуть-чуть лишь помнил страшную ночь, тот момент, когда он шел от одной открытой двери к другой, до калитки, когда он крикнул во мрак на улице: — „Алену_ка“, — и в этот день ему все время вновь хотелось так же крикнуть, только громко, только окончательно всепрощающе, только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом. — И тогда же, скоро пришло другое письмо, от Николая, — и оно начиналось теми же словами, что и письмо Ивана: — „Здравствуй, дорогой мой папа“, — и всей кровью, всей ненавистью, всей той промозгой ночью, пропахшей человечинной, ему захотелось крикнуть, опять, опять: — „вон! вон! к своим жеребцам! — мне ублюдков не надо!“

... И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах и когда очень рано надо зажигать свечи (это было время, когда уже отгромыхивала революция). На дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой про_умел по лесенке сенц. Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо:

— Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов?

— Да, я здесь, — ответил Иван Иванович.

В комнату во_ел невысокий человек, с палкой о резиновом набалда_нике, какие носят калеки. Плечи его были подняты. И в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось очень бледным, очень усталым. — Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу. — Он, этот человек, _агнул в комнату, и нерешительно и радостно остановился у порога. Он сказал:

— Вы — Иван Иванович?.. и заплакал и протянул вперед руки (палка упала на пол).

— Папа, — это я... твой... ваш сын Николай!

Иван Иванович стоял у стола (у того самого стола, на котором перецветилось сукно), — и он не подал руки, он отвернулся от Николая, — он почуял, как сразу вся та ночь из десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо:

— Садись. Чем могу служить?

Николай ничего не ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери.

— Чем могу служить?! — громче сказал Иван Иванович.

Николай не понимал вопроса, не успел ответить.

— Чем могу служить! — закричал, завизжал Иван Иванович.

— Простите, я не понимаю — —

Иван Иванович потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз.

— Простите, не знаю ва-его отчества, — заговорил опотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз. — Не знаю вашего отчества, — повторил он громче. — Извините. Нам надо объясниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию по недоразумению. Я не знаю, кто ваш... — Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы: — Простите, вы курите? — нет?.. Так! — Простите, я не имею чести знать, кто ваш... батюшка!

Николай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала: Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат.

— Да, да, — простите! Не имею чести! Я здесь не при чем!.. Не имею чести!.. Не имею чести знать, с кем... с кем приспала вас ва-а мату-ка!

Николай не слушал больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он пошел поспешно, припадая на правую ногу, в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей.

— Да, да, — не имею чести! Не имею чести! — кричал вслед Иван Иванович.

* * *

... Братья Николай и Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил коридорного, — Где брат? — Коридорный ответил: — Они никуда не выходили-с. — Тогда Иван увидел на полу, за столом человека. Человек обнимал спинку стула. Иван, сильный человек, запутанный в ремни от сабли и револьвера, поднял человека на руки.

— Николай, голубчик, что ты? — спросил он тревожно. — Припадок?

Николай ответил покойно:

— Нет, никакого припадка нету. Я здоров. Я был... — Николай затомился словами. — Я был у Ивана Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была... что он не знает, кто мой отец, с кем приспала, так сказал он, меня моя мама.

— Что?.. наша мама — —

На столе в номере горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы провалива-

лись во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек сидел рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два человека, никогда не видевшие друг друга, но с первых дней своего сознательного детства знавшие все друг о друге, — они говорили о маме, которую один из них помнил. И для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них было сухое слово — *негодяй*, — негодяй, который осмелился посягнуть на память матери — —

... В уездных городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в грязь, — тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку, Ивану Ивановичу Иванову, человеку, жизнь которого пропахла человечинной, выпало еще раз пережить ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери: была ночь навождений, тех навождений, которые некогда, там, за годами, увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки и ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах „Москва“. И Иван Иванович-отец кричал в темноту: — „Иванушка!“ — Сын Иван не пришел к отцу. — И на утро отец Иван видел сына, — тоже, в сущности, единственный, последний раз, — на вокзале. Он, отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один, опирающийся на палку с резиновым набалдашником, и этого хромого вел высокий, здоровый военком, запряженный в ремни от сабли и от револьвера, белокурый, румяный, здоровый, покойный человек. И отец увидел: глаза его были небывало похожи на глаза матери, на те озера, в которых некогда он мог топить мир и солнце. — Поезд ушел очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер. — По улицам,

по деревянным тротуарам шел дряхлый, седой человек — —

Дома в сенцах запахло человечинной.

IV

Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой.

Москва,
Сентябрь, 1925.

ГРЭГО-ТРИМУНТАН

I

Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно сказать о людях, что они просты, — и никогда нельзя говорить, что просты люди. Эти люди были строги, молчаливы, медленны, — были просты — как просто море. Они знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты — сухие, — что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат; и они умели их водить по морям, по ветрам и против ветров — от тримунтана на ливант, от острии на пунентий, и очень знали, когда с Азии дует Γ ирокко, а с Европы маистра (так называли они осты, зюйды и норды, — и ветры с этих сторон). Они очень знали соль моря, — знали, что значит „в море“, сиречь в шторм, когда надрывается гупошлеп, сиречь ветер, — что значит тогда лазать по вантам и путаться в такелаже. По той земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины Γ ли только в море.

За поселком от моря шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом, таким, каким обрывается в моря Великая российская равнина. Туда к морю, в каменистую бухту, вела каменистая тропинка, — и этой тропинкой уходили молодые в море, чтобы почти никогда — стариками — не возвращаться на-

зад этой тропинкой, могилы себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети, — да изредка в греческой кофейне пили водку моряки, — те, кто или уже навсегда сменял воды моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на время из рук руль и троссы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив на берегу, — и еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне те, кто с моря приехал богатым, — пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает, гуляет, нового ждет счастья и моря. Женщины оставались в поселке. Женщины перед закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву, — их обдувал ветер, они козырьком прикладывали руки к глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не мегало уходящее солнце, — и смотрели в море, туда, где шли их капитаны, турмана, подкиперы, боцманы, юнги.

II

Их было двое — два шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшиеся крестами в бурю, в час, когда вместе они гибли. Они одновременно увидели — в детстве — солнце, поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море, — и вместе они сошли в смерть.

Им одинаково задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги, — потому что у них были красивейшие жены и были хорошие дети: потому что у них была удача и крепко сидели головы на крепких плечах (Николай женился пятью годами позже Андрея). Это были два друга, обменявшиеся крестами в гибели, чтобы обменять жизнь одного за жизнь другого: тогда

там, в море, в снегу и ветре, в месяце декабре у берегов Сулина их трепал грэго-тримунтан, они оба стояли у руля, в ночи, в ветре, в снегу — без компаса, без парусов, без мачт; — им не было страшно от той красноватой в свете фонаря воды, которая забежала на мостик, — и страшно было только лишь то, что руки окоченели и не было сил держаться за руль, разжимались пальцы; — тогда они обменялись крестами, на рассвете, когда их шхуну выбросило на берег.

Одного из них звали Николаем, другого Андреем.

...Всегда о жизни каждого можно сказать, что она проста, — и никогда нельзя говорить так. У Андрея была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка, — вольная, как море и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын.

Андрей ушел в море, в синь Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, в Порт-Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за валанеей, за термаламой, за фигами, за коврами. Николай пришел с моря, с деньгами, с шаями, с маслинами. Николай, тою походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в море, надвигая на глаза картуз, — и тогда он говорил значительные фразы о Стамбуле, о Чанаке, о Мителене, о смирнских тавёрнах, о том, как созвездие, называемое Поясом Иакова, ночами на Средиземном море, только на кварту поднимается над горизонтом и опять уходит в море, в какие-нибудь двадцать минут; как запрыгивают на палубу летучие рыбы, — и как много сини в Эгейе — синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с ребенком за руку; море обдувало ее платье, косынка билась

парусом; глаза ее были сини, глаза скифки, и скифски-своевольно были сложены ее губы, просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии, Мария укладывала сына, и потом они пили вместе вечерний чай, в мелочных разговорах.

И поздно ночью, когда давно уже были убраны на ночь рыбацьи лодки и даже собаки полегли спать, однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял кругленький столик, в турецкой расшитой скатерти, — перед диванчиком в подушечках. На столике лежали альбомы Афин и Стамбула, были кружевца под альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков, в рамках, уже засиженные мухами. Николай сидел на диванчике, Мария была рядом в кресле. Мария заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью.

И тогда заговорил растерянно Николай.

— Маня, — сказал он, — я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю, потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга, у меня в портах на берегу и в море на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу против моего друга, хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня, этого никогда не будет, и мы станем с тобою друзьями, как были до сих пор, и я буду приходить к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга.

Как передать этот ночной их разговор, — об этой, должно быть, настоящей любви Марии, — когда Мария

твердо сказала Николаю, что, если он не пойдет по ее воле, она солжет, наклеветает, скажет мужу, расскажет мужу, что он, друг мужа, Николай, добивался Марии, добивался ее чести.

— Маня, — говорил Николай, — не надо так поступать, — пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу очень большое горе, потому что он тебя любит. Лучше, Маня, давай забудем эту ночь и никогда не будем говорить об этом: я знаю, ты женщина молодая, и с кем греха не бывает... А я завтра опять приду к тебе чай пить.

Море дуло на берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни, перекатывало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил пить чай и шопотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастья людей, о том, что масло есть вещь масляная, и о том, как Пояс Иакова ночами в Средиземном море поднимается только на несколько минут, и как танцуют смирнские танцовщицы.

Андрей пришел с моря. Его бриг остался в порту, на боте он пришел в поселок. В тот час, когда окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И, по обычаю моряков, в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с женой. На утро Николай пришел к нему.

Два шкипера поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский мундштук, боченок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария. Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленна в движениях, как бывает с женщинами после страстной ночи.

— Маня, — сказал Николай, — почему ты не посидишь с нами?

— Друзьям надо побыть одним, — ответила Мария и ушла к сыну.

Андрей и Николай выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли и турецкие пиастры, и греческие лепты, и английские шиллинги, и французские франки, и он, Андрей, только-что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков-собродяг по морям; Андрей был в новом пиджаке и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца Хайфе.

III

Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай, — стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке „тихого плавания и бурной гавани“, — но иной раз держали и бурное море.

У Марии родилась дочь, ее называли Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунша и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестною матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренный бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту возрастило то же море. Отцы пророчили свадьбу осенним мясоедом, — эта же ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? — на берегу,

среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест, и замирает предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.

Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой, и долго прикалывали ей флерд-оранж, цветы померанца. В церкви пел хор, невеста ступила первой на коврик. — И после венчания, в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена, — сказала, утвердила, спросила — о том, что дочь Марии — Мария — обоих их крестная дочь — есть дочь Николая, — что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, — что Мария поклялась ей, — и молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне, — и Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтоб рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад, — чтобы — вот, в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несуразицы.

Свадебный пир был в кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со стаканами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей по-

целовался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая, и тихо сказал:

— Николай, ты мне — брат. И я тебе — брат!

IV

Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь, — за тою синью, которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт-Кардиф, — дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти.

И тогда умерла Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Ивановичем, — ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай — Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.

Андрей Иванович сказал:

— Коля, ты поухаживай за Маней.

И Николай Евграфович сел над постелькой Марии.

Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже

овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутылъ вина. Выпили. Молчали.

· Тогда заговорил Андрей.

— Десять лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. — Правда, что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей.

И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, — о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга и его жены. — Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на крылечке о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, — о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви.

— Должно-быть, она любила тебя, — сказал Андрей.

— С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом, — ответил Николай. — Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому-что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?

— Должно быть, она любила тебя, — повторил Андрей.

— Тогда той ночью она сказала мне, — сказал Николай, — что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи, — но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви.

— Она любила тебя! — сказал Андрей.

Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в этом мире. Не шумело даже море.

V

И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать,—собою она повторила мать: как некогда мать, запеклась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у Николая Евграфовича посеребрили виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем,—возникли полнота и медленность движений; они носили теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя на-распашку, фуражки, прошитые золотым позументом, — капитаны дальнего плавания,—разменивали пятый десяток своей жизни.

Человеческое время идет рожденьями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток, шел морями шесть месяцев,—в это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай Евграфович пароход Тихим океаном, Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии; — чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество, — что не выйдут к нему на встречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка — сын и дочь, не помашет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня, и постель будет пуста.

...О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.

Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матрос вытащил бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье, в белой косынке, — быстро бежала по каменистой тропинке.

— Дядя Коля, это ты? — спросила женщина.

Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню, — на белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы пройти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:

— Что же, тебя прислал отец?

— Нет, я пришла сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.

Николай Евграфович ничего не ответил, повернулся постоял в двери, — опять повернулся, — неловко, потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб, — и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. — А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках. так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины накладывала, хозяйничала — Мария, и за

чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно, пил, ел, посматривал, ни о чем не спрашивал.

После чая Николай Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к нему плечом. Ночь была черна и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые прожили трудную, в сущности, жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить, — жизненный опыт их родит консерватизм, они предуказывают всегда всем правила, которыми будто-бы сами прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю Шерстяную-Ноггу, — что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и лимонами, — что бригантины хуже трембак потому, что в шторм вооруженные мачты с реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно.

Тогда Николай Евграфович поднялся, чтобы пойти спать.

Он лег на опустевшей своей двуспальной постели. Мария легла в комнате рядом, в бывшей детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку на столик около кровати, взял книгу — приложение к „Ниве“, полученное без него. Из комнаты Марии не долетело ни одного звука. Капитан потушил свет, тогда стали во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии.

— Маня, ты не спишь? — спросил Николай Евграфович.

— Дядя Коля, можно прийти к тебе? — ответила Мария.

Мария не дождалась ответа, скрипнула дверь, капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую по-ночному, с

шалью на плечах, со свечью в руке. Свеча потухла, и Мария села около капитана на кровать, руки ее и голова упала на грудь к капитану, и Мария зашептала:

— Дядя Коля, папа,—мама мне говорила перед своею смертью, что ты мой папа и просила у меня прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя,—и взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить и всю жизнь буду заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было десять лет, когда я узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом.

Капитан, как многие старики, был ригористичен и любил ставить точки над и, любил доказывать, что масло вещь есть масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии,—сейчас он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь — и неправда может быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно положила голову к нему на грудь.

Старик-капитан отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой жизни,—заплакал в удивлении от непостижимости того, что несет иной раз человеческая жизнь,—от любви к своей дочери, от забот о ней,—заплакал от старости,—заплакал, оплакивая ушедшее...

Ночь была черна, глуха так, что не были даже овчарки.

VI

...Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты,—и никогда нельзя так говорить.

...Тримунтаны, грэго, ливанты, пунентии, маистры — так называют моряки ветры — дуют с моря: и они же дуют в море — маистры, пунентии, ливанты, гарбии, острии. По той земле, где родился и жил капитан Николай Евграфович, некогда прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь на этом каменистом берегу, откуда мужчины шли только в море: здесь были и греки, древние и теперешние, и левантийцы, и турки, и славяне и молдавы; они говорили на языке, окрашенном украинскою речью, — но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марсея у них был иной язык вроде такого:

— „Ту моргэ паране — море, и треба ми твэнти — един хлиб“.

Ветры иной раз дуют до свиста: но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и про-свистываться серьезному человеку.

Эгейское море.
3 ноября 1925 г.

ГОД ИХ ЖИЗНИ

I

На юг и север, восток и запад, — во все стороны на сотни верст, — шли леса и лежали болота, закутанные, затянутые мхами. Стыли бурые кедры и сосны. Под ними — непролазной чащей заросли елки, ольшанник, черемуха, можжевельник, низкорослая береза. А на маленьких полянах, среди кустарника, в пластах торфа, обрамленных брусникой и клюквой, во мху лежали „колодцы“ — жуткие, с красноватой водой и бездонные.

В сентябре проходили морозы. Снег лежал твердый и синий. Только на три часа поднимался свет; остальное время была ночь. Небо казалось тяжелым и низко спускалось над землей. Была тишина; лишь в сентябре ревели, спариваясь, лоси; в декабре выли волки; остальное время была тишина, такая, которая может быть только в пустыне.

На холме у реки стояло село.

Голый, из бурого гранита и белого сланца, изморщенный водою и ветром, шел к реке скат. На берегу лежали неуклюжие, бурые лодки. Река была большой, мрачной, холодной, щетинившейся сумрачными синевато-черными волнами. Избы бурели от времени, крыши, высокие, выдвинувшиеся вперед, досчатые, покрылись зеленоватым мхом. Окна смотрели слепо. Около сохнули сети. Здесь жили звероловы. Зимой они уходили надолго в тайгу и били там зверя.

II

Весною разливались реки: широко, свободно и мощно, шли тяжелые волны, рябя речное тело, и от них расходился влажный, придавленный шум, тревожащий и неспокойный. Стаивали снега. На соснах выросли смолистые свечи и пахли крепко. Небо поднималось выше и синело, а в сумерки оно было зеленовато-зыбким и манящим грустью. В тайге, после зимней смерти, творилось первое звериное дело — рождение. И все лесные жители, — медведи, волки, лоси, лисицы, песцы, совы, филины, — все уходило в весеннюю радость рождения. На реке кричали шумно гагары, лебеди, гуси. В сумерки, когда небо становилось зеленым и зыбким, чтобы ночью перейти в атласно синее и многозвездное, когда стихали гагары и лебеди, засыпая на ночь, и лишь свербил воздух, мягкий и теплый, медведки и коростели, — на обрыве собирались девушки петь о Ладе и водить хороводы. Приходили из тайги с зимовий парни и тоже собирались здесь.

Круто падал яр к реке. Шелестела внизу река. А наверху стлалось небо. Притихало все, но чувалось в то же время, как копошится и спешит жизнь. На вершине обрыва, где на граните и сланце росли чахлый мох и природолюбные травы, сидели девушки, сбившись в тесную кучу. Были они в ярких платьях, все крепкие и ядреные; пели они грустные и широкие, старинные песни; смотрели куда-то в темнеющую, зеленоватую мглу. Девушки пели неизбытые широкие свои песни эти для — парней. А парни стояли темными, взъерошенными силуэтами вокруг девушек, резко всгогатывая и дебоширя, точно также, как самцы на лесных звериных токах.

У гулянок был свой закон.

Приходили парни и выбирали себе жен, споря за них, и враждовали друг с другом; а девушки были безразлич-

ны и во всем подчинялись мужчинам. Спорили, всгогатывая, и бились парни, шумели, и тот, кто побеждал, — тот первым выбирал себе жену.

И тогда они, он и она, уходили с гулянок.

III

Марине было двадцать лет, и она пошла на откос.

Удивительно было сложено ее высокое, тяжелое немного тело, с крепкими мышцами и матово-белой кожей. Грудь ее, живот, спина, бедра, ноги очерчивались резко — крепко, упруго и выпукло. Высоко поднималась круглая, широкая грудь. У нее были черны очень — тяжелые косы, брови и ресницы. Черны, влажны, с глубокими зрачками были глаза. Щеки ее сизо румянились. А губы казались мягкими, звериными, красные очень и большие. Ходила она всегда, медленно переставляя высокие свои, сильные ноги и едва покачивая упругие бедра.

Она приходила на откос к девушкам.

Пели девушки свои песни — затаенно, зовуще и неизбыто.

Марина забивалась в кучу девушек, откидывалась на спину, закрывала затуманенные свои глаза и тоже пела. Шла песня, расходилась широкими и светлыми кругами, и в нее, в песню, уходило все. Закрывались истомно глаза. Ныло сладкою болью неизбытое тело. Сжималось зыбко сердце, будто немело, а от него, по крови, шла эта немота в руки, в голени, обессиливая их, и туманила голову. И Марина вытягивалась страстно, немела вся, уходила в песню, и пела; и вздрагивала лишь при возбужденных, всгогатывающих голосах парней.

А потом дома, в душевой клетке ложилась Марина на свою постель; закидывала руки за голову, отчего высоко поднималась ее грудь; вытягивала ноги; открывала широ-

ко темные, туманные глаза; сжимала губы и, снова замирая в весенней томе, пролеживала так долго.

Двадцать лет было Марине, и от дня рождения росла она, как чертополох на обрыве, — свободно и одиноко — со звероловами, тайгой, обрывом и рекою.

IV

Демид жил на урочище.

Так же, как село, стояло урочище над рекой. Только выше был холм и круче. Близко подвинулась тайга; к самому дому протянули лесные свои лапы темнозеленые, буроствольные кедры и сосны. Далеко было видно отсюда: беспокойную, темную реку, займища за ней, тайгу, зубчатую у горизонта и темносинюю, и небо — низкое и тяжелое.

Дом с бревенчатыми стенами, с белыми некрашенными потолком и полами, сделанный из огромных сосен, весь завален был шкурами медведей, лосей, волков, песца, горностая. Висели шкуры на стенах и лежали на полу. На столах лежали порох, дробь, картечь. В углах были свалены силки, петли, капканы. Висели ружья. Пахло здесь остро и крепко, будто собраны были все запахи тайги. Было две комнаты здесь и кухня.

В одной из комнат посредине стоял стол, самоделковый и большой, и около него низкие козлы, крытые медвежьей шкурой. В этой комнате жил Демид, в другой комнате жил медведь Макар.

Дома Демид лежал на своей медвежьей постели, долго и неподвижно, прислушиваясь к большому своему телу, к тому, как живет оно, как течет в нем крепкая кровь. К нему подходил медведь Макар, клал ему на грудь тяжелые свои лапы и дружелюбно нюхал его тело. Демид шарил у медведя за ухом, и чувалось, что они, человек и зверь, понимают друг друга. В окна глядела тайга.

Был Демид кряжист и широкоплеч, с черными глазами, большими, спокойными и добрыми. Пахло от него тайгой, здорово и крепко. Одевался он, — как и все звероловы, — в меха и в грубую, домашней пряжи, белую с красными прожилками, ткань. Ноги его были обуты в высокие, тяжелые сапоги, сшитые из оленьей шкуры, а руки, красные и широкие, покрылись крепкой коркой мозоли.

Макар был молод и, как все молодые звери, — нелеп и глуп. Он ходил вперевалку и часто озорничал: грыз сети и шкуры, ломал силки, слизывал порох. Тогда Демид Макара наказывал, — драл. А Макар переваливался на спину, делал наивные глаза и жалобно повизгивал.

V

Демид пошел на яр к девушкам, увел Марину с яра к себе на урочище, и Марина стала женой Демида.

VI

Летом росли, поспешно и сочно, буйные, темнозеленые травы. Днем светило солнце с синего и влажного, так казалось, неба. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем: растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время атели слитые зори — вечерняя и утренняя — и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки.

У Демида Марина стала жить в комнате Макара.

Макар был переведен к Демиду.

Макар встретил Марину недружелюбно. Когда он увидел ее первый раз, он зарычал, скалясь, и ударил ее лапой. Демид за это его высек, и медведь стих. Потом Марина с ним сдружилась.

Днем Демид уходил в тайгу. Марина оставалась одна. Свою комнату она убрала по-своему, с грубой грацией. Развесила симметрично шкуры и тряпки, расшитые ярко-красным и синим, петухами и оленями; повесила в углу образ богоматери; обмыла полы; и ее комната, пестрая и все попрежнему пахнувшая тайгой, стала походить на лесную молельню, где лесные люди молятся своим божкам.

Бледнозеленоватыми сумерками, когда проходила безнебная ночь и лишь кричали в тайге филины, а у реки скрипели медведки, Демид шел к Марине. Марина не умела думать, — ее мысли ворочались, как огромные, тяжелые булыжники, — медленно и неуклюже. Она умела чувствовать, она вся отдалась Демиду-мужу, и бледными, безнебными ночами, жаркая, пахнувшая телом, разметавшись на своей медвежьей шкуре, она принимала Демиду; и отдавалась, подчинялась ему вся, желая раствориться в нем, в его силе и страсти, избывая свою страсть.

Белые, зыбкие, туманные были ночи. Таежная, ночная стояла тишина. Шли туманы. Ухали филины и лешаки. Утром же красным пожаром горел восход и поднималось большое солнце на влажно-синее небо. Поспешно и сочно росли травы.

Шло лето, проходили дни.

VII

В сентябре пошел снег.

Еще с августа заметно стали сжиматься и сереть дни, и вырастали большие, черные ночи. Тайга сразу затихла, занемела и стала пустой. Пришел холод и заковал льдом реку. Были длинными очень сумерки, и в них снег и лед на реке казались синими. Ночами, спариваясь, ревели лоси. Они ревели так громко и так необычно, что становилось жутко и вздрагивали стены.

Осенью Марина забеременела.

Раз ночью, перед рассветом Марина проснулась. В комнате было душно от натопленных печей и пахло медведем. Чуть начинало светать, и на темных стенах едва заметно синими пятнами светлелись рамы окон. Где-то близко около урочища ревел старый лось: по грубому голосу с шипящими нотами можно было узнать, что это старик.

Марина села на своей постели. У нее кружилась голова и ее тошнило. Рядом с ней лежал медведь. Он уже проснулся и глядел на Марину. Его глаза светились тихими зеленоватыми огоньками, будто сквозь щелочки было видно небо весенних сумерок, покойное и зыбко-тихое.

Еще раз подступила к горлу тошнота, накатило головокружение, — и эти огоньки глаз Макара подсознательно и углубленно переродились в душе Марины в огромную, нестерпимую радость, от которой затрепетало больно ее тело, — беременна. Билось сердце, точно перепел в силках, и накатывало головокружение, зыбкое и туманное, как летние утра.

Марина поднялась с своей постели, — с медвежьей шкуры, — и быстро, нелепо-неуверенными шагами, голая, пошла к Демиду. Демид спал, — обхватила голову его горячими своими руками, прижала ее к широкой своей груди.

Понемногу серела ночь, и в окна шел синий свет. Лось перестал реветь. В комнате закопошились серые тени. Подошел Макар, вздохнул и положил лапы на постель. Демид свободной рукой взял его за шиворот и, трепля любовно, сказал ему:

— Так-то, Макар Иваныч, — домекаешь?

Потом добавил, обращаясь к Марине:

— Как думаешь, — домекает? Маринка!... Маринка! Маринка!

Макар лизнул руку Демида и умно, понимающе опустил голову на лапы. Ночь серела, вскоре по снегу пошли лиловые полосы, зашли в дом. Красное, круглое, далекое поднялось солнце. Под обрывом лежали синие льды реки, за нею рубчато поднималась тайга.

Демид не пошел в тайгу в этот день, как и много еще дней после этого.

VIII

Пришла, пошла, проходила зима.

Снег лежал глубокими пластами, был он синим — днем и ночью — и лиловым при коротких закатах и восходах. Солнце, бледное и неможное, едва восходя над горизонтом, поднималось на три часа, казалось далеким и чужим. Остальное время была ночь. Ночами зыбкими стрелами лучилось северное сияние. Мороз стоял молочно-белым туманом, нацепливающим всюду иней. Была тишина пустыни, которая говорила о смерти.

У Марины изменились глаза. Были раньше они затуманенно-темными и пьяными, стали теперь — ясными удивительно, спокойно-радостными, прямыми и тихими, и целомудренная стыдливость появилась в них. У нее стали шире бедра и увеличился очень живот, и это давало ей некую новую грацию, неповоротливо-мягкую и тяжелую, и опять — целомудренность.

Марина мало двигалась, сидя в своей комнате, похожей на лесную молельню, где молятся божкам. Днями справляла она несложное свое хозяйство: топила печь, варила мясо и рыбу, сдирала шкуры с убитых Демидом зверей, чистила свое урчище. Вечерами — вечера были длинны — Марина сучила на веретене основу и на стане ткала полотно; шила для своего ребенка. И когда шила, думала о ребенке, пела и улыбалась тихо.

Марина думала о ребенке, — неизбытая, крепкая, всеобъемлющая радость полонила ее тело. Билось сердце и еще сильнее подступала радость. А о том, что она, Марина, будет родить — страдать — не было мыслей.

Демид утренними лиловыми рассветами, когда стояла на юго-западе круглая луна, уходил на лыжах, с винтовкой и финским ножом в тайгу. Стояли сосны и кедры, вычерченные твердыми и тяжелыми узорами снега, под ними теснились колючие елки, можжуха, ольшанник. Стояла тишина, задавленная снегом. В мертвых беззвучных снегах шел Демид от капкана к капкану, от силка к силку, глушил зверя. Стрелял, и долго в безмолвии плясало эхо. Выслеживал лосей и волчьи стаи. Спускался к реке, караулил бобров, ловил в полыньях очумелую рыбу, ставил верши. Было кругом все, что знал всегда. Медленно меркнуло красное солнце и начинали лучиться зыбкие стрелы сияния.

Вечером на урочище, стоя, разрезывал рыбу и мясо, вешал морозиться, кидал куски медведю, сам ел, мылся ледяною водой и садился около Марины, — большой, кражистый, широко расставив сильные свои ноги и тяжело опустив на колени руки, от него тесно становилось в комнате. Он улыбался спокойно и добродушно.

Горела лампа. За стенами были снега, тишина и мороз. Подходил Макар и шебаршил на полу. В комнате, похожей на молельню, становилось уютно и спокойно-радостно. Трескались в морозе стены, в промерзшие окна смотрел мрак. Висели на стенах полотенца, шитые красным и синим, оленями и петухами. Потом Демид поднимался со своей скамьи, нежно и крепко брал Марину на руки и относил на постель. Тухнула лампа, и во мраке теплились тихо глаза Макара.

Макар за зиму вырос и стал таким, какими бывают взрослые медведи: сумрачно-серьезным, тяжелым и неуклюже-

ловким. Была у него широкая очень, лобастая морда с сумрачно-добродушными глазами.

IX

С последних дней декабря, с Снежного праздника, когда выли волки, Марина стала чувствовать, как под сердцем у нее двигался ребенок. Он двигался там внутри, нежно и так мягко, точно гладилось тело поручней из гагачьего пуха. Марина полонилась радостью, — чужая только того маленького, кто был внутри ее, кто изнутри взял ее крепко, и бесстыдные, бессвязные слова говорила Демиду.

По рассветам там, внутри, двигался ребенок. Марина прижимала руки — удивительно нежно — к животу своему, гладила его заботливо и пела колыбельные песни о том, чтобы из ее сына вышел охотник, который убил бы на своем веку триста и тысячу оленей, триста и тысячу медведей, триста и еще триста горностаев и взял бы в жены первую на селе красавицу. А внутри ее, едва заметно, чрезмерно мягко, двигался ребенок.

За домом же, за урочищем были в это время: туманный мороз, ночь и тишина, говорящие о смерти, и лишь иногда начинали выть волки, подходили к урочищу, садились на задние лапы и выли в небо, долго и нудно.

X

Весною Марина родила.

Весною всполошились и разлились широко реки, зарыбились сумрачными, щетинящимися свинцовыми волнами, берега облепили белыми стаями — лебеди, гуси, гагары. В тайге пошла жизнь. Там творилось звериное дело рождения, лес настороженно гудел шумами медведей, лосей, волков, песцов, филинов, глухарей. Зацвели и поросли

буйные темнозеленые травы. Сжались ночи и выросли дни. Лиловыми и широкими были зори. Сумерки были бледнозелеными и зыбкими, и в них на яру у реки, в селе девушки пели о Ладе. Утренними зорями поднималось большое солнце на влажно-синее небо, чтобы много весенних часов проходить свой небесный путь. Пришел весенний праздник, когда, по легенде, улыбается солнце, люди меняются красными яйцами, символами солнца.

В этот день Марина родила.

Роды начались днем. Весеннее, большое и радостное солнце шло в окно и обильными снопами ложилось на стены и на пол, покрытые шкурами.

Марина помнила только, что была звериная боль, корчащая и рвущая тело. Она лежала на медвежьей своей постели, в окна светило солнце, — это она помнила, помнила, что лучи его легли на стену и на пол так, как показывали они полдень, затем отодвинулись налево, на полчаса, на час. Потом, дальше все ушло в боль, в корчащие судороги живота.

Когда Марина опомнилась, были уже сумерки, зеленые и тихие. В ногах, в крови весь, лежал красный ребенок и плакал. Около стоял медведь и особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами.

В это время пришел Демид, — он обрвал пуповину, обмыл ребенка и положил Марину, как следует. Он дал ей ее ребенка, — удивительны были ее глаза. На руках у Марины был маленький, красный человечек, который беспричинно плакал. Боли уже не было.

XI

В эту ночь ушел от Демида медведь, ушел в тайгу, чтобы искать себе пару.

Ушел медведь поздно ночью, выломив дверь. Была ночь. У горизонта легла едва-заметная полоса восхода. Где-то далеко девушки пели о Ладе. На обрыве из бурого гранита и белого сланца сидели тесною кучею девушки, пели, и около них, темными, взъерошенным силуэтами стояли парни, вернувшиеся с зимовий из тайги.

СНЕГА

I

С вечера в хрусткой тишине были слышны ямщицьи колокольцы; должно быть, проехали со станции. Колокольцы прозвонили около усадьбы, спустились в овраг, потом бойко — от рыси — задрезжали на деревне и стихли за выгоном. В усадьбе их слышали.

Полунин сидел в кабинете с Архиповым за шахматным столиком. Вера Львовна была у ребенка, говорила с Аленой, затем ходила в читальню-гостиную, рылась в книгах. Кабинет был большим, на письменном столе горели свечи, валялись книги, над широким кожаным диваном висело, поблескивая тускло, старинное оружие. В окна без гардин заглядывала лунная безмолвная ночь. В окно проходил телефонный провод, рядом стоял столб, и провода гудели в комнате, где-то в углу у потолка, однотонно, чуть слышно, точно вьюга, — гудели всегда. Сидели молча, — Полунин, — широкоплечий, с широкой бородой, Архипов, — сухой, четкий, с голым черепом.

Пришла Алена, принесла молоко, простоквашу и творог.

— Милости прошу поужинать, чем бог послал, — сказала застенчиво, поклонилась, сложила руки под грудями, молодая, скромная, в белом платочке, с тихими глазами. Сели к столу, ужинали молча, рассеянно. Алена присела

было, но скоро ушла — заплакал ребенок, с нею ушла и Вера Львовна. Самовар шумел чуть слышно, вил тонкую веревку, в унисон с проводами. Мужчины взяли с собой чай, вернулись опять к шахматам. Вернулась Вера Львовна, села на диван рядом с мужем, сидела неподвижно, напоминали глаза ее глаза некой ночной птицы — были неподвижны, сосредоточены.

— Посмотрели, Вера Львовна, Гойю?

— Просматривала историю искусств, потом сидела с Наташей.

— Удивительнейшая чертовщина! А вы знаете, есть еще живописец — Бохс. У того еще больше чертовщины. Его искушения св. Антония.

Заговорили о Гойе, о Бохсе, о св. Антонии, говорил Полуниин, незаметно перевел разговор на Франциска Ассизского, — читал сейчас творения Франциска, увлекался им, — его аскетическим прятием мира, — потом разговор иссяк.

Ушли Архиповы поздно, Полуниин ходил провожать. Орион подошел к полуночному своему месту, мороз в безмерной тишине жестко колот, под ногами скрипел снег.

Возвращаясь, смотрел в пустынное небо, искал любимое свое созвездие Кассиопею, следил за Полярной. Затем задавал на ночь корм лошадям, поил их, угощал специальным посвистом; в конюшне было тепло, пахло конским потом, тускло горел на стене фонарь, лошади выдыхали парные серые облака, жеребец Поддубный косил большим наивным глазом, точно неумело следил. Запер конюшню, постоял на дворе на снегу, осмотрел запоры.

Алена в кабинете на диване постлала постель, сидела около в кресле, кормила грудью ребенка, склонив к нему голову, напевала тихо, без слов. Полуниин сел рядом, говорил о хозяйстве, принял с рук Алены ребенка, качал

его. В окна шли зеленые пласты лунного света. Полунин думал о Франциске Ассизском, об Архиповых, потерявших веру и все же ищущих закона, об Алене, о хозяйстве. В доме была тишина. Уснул быстро, спал бодро, крепким сном, к которому привык давно, после бессонных прежних ночей.

Над безмолвными полями проходила луна, — не спала, верно, этой ночью Ксения Ипполитовна Енишерлова.

II

День пришел белый, прозрачный, холодный, — тот, в которые дышится паром, и на деревья, дома, изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух — бел, солнце не выходило из белых же облаков.

Заходила Алена, говорила о хозяйстве, ушла палить к Рождеству свинью.

В читальной часы пробил одиннадцать, им ответили часы из зала, и сейчас же за ними прозвонил телефон; в пустынной тишине его звон прозвучал необычно и резко; в телефоне глухо, издалика зазвучал женский голос.

— Это вы, Дмитрий Владимирович? Дмитрий Владимирович, вы ли это?

— Да. Но кто говорит?

— Говорит Ксения Ипполитовна Енишерлова, — ответил голос покойно и зазвучал взволнованно: — Это вы, мой аскет и искатель? Это я, это я, — Ксения...

— Ксения Ипполитовна, — вы? — Полунин спросил радостно.

— Да-да... О, да-а!.. Я устала метаться и быть на кончике остря, и я приехала к вам в поля, мой аскет,

где снег, снег, снег и небо... к вам, искатель... Примете ли вы меня? Вы простили мне тот июль?

Полунин стоял около телефона сгорбившись, лицо его было серьезно и внимательно.

— Да, я простил.

Одно лето, давно уже, часто Полунин и Ксения Ипполитовна встречали вместе июньские всходы, и по зарям, в матовой росе на террасе, когда горько пахло березами и меркнул хрустальный серп на западе, прощаясь до завтра, Полунин целовал свято наивные, думалось ему, Ксении Ипполитовны, в горьком березовом соке, чистые губы, и поцелуи эти были наивны и чисты. Но Ксения Ипполитовна потом смеялась над ними и покойно пила изнемогающую, протестующую страсть Полунина порочными своими губами, чтобы покинуть его потом, сменить на Париж и оставить после себя лоскутья любви чистой и страстной.

Были те июнь и июль, были с тем, чтобы принести радость и горе, добро и зло. Алену встретил Полунин уже уставшим, уже нашедшим свое. Жил один, с книгами. Алену встретил весной, сошелся быстро, просто, зачав ребенка, — нашед в себе уже не страстные инстинкты, но инстинкт отцовства. Алена в дом пришла без венчания, тоже уже после весенней любви, пришла вечером, поставила в кухне на скамью свой сундучок, прошла в кабинет, сказала тихо:

— Вот я. Пришла, — и платком утерла уголки губ, красивых еще очень и скромных.

Ксения Ипполитовна приехала к заполдням, когда день уже меркнул и над снегами пошли синие полосы. Небо потемнело, налилось синей мутью, кричали под окнами на снегу снигири. Ксения Ипполитовна подъехала к парадному, позвонила, хотя Полунин ей отпирал уже. Прихожая была большая, светлая, холодная. Когда входила

Ксения Ипполитовна, на минуту упали на окна солнечные лучи, свет в прихожей стал теплым и восковым, — лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину в нем зелено-желтым, как кожица персика, — безмерно красивым. Но лучи погасли, свет стал синим, сумеречным, — Ксения Ипполитовна померкла, стала уставшей, постаревшей.

Алена поклонилась, Ксения Ипполитовна на момент приостановилась, верно, раздумывая: — подать ли руку? — подошла быстро, обняла Алену, поцеловала.

— Здравствуйте, я ведь старый друг вашего мужа.

Руки для поцелуя Полунину не дала.

С тех пор, с того давнего лета Ксения Ипполитовна изменилась очень. Так же прекрасны были глаза, так же тонки и красивы были своевольные губы, прямой нос, изломанные брови, — появилось нечто, что напоминало поздний август. Носила раньше она светлые костюмы, — была одета сейчас в черное платье, рыжие свои нежные волосы заложила простым жгутом.

Прошли в кабинет, сели на диван. Свет стал синий, за окнами лежал синий снег. Мебель и стены в сумерках посерели. Полунин был очень серьезен и внимателен, заботливо стал около Ксении Ипполитовны. Алена ушла; уходя, смотрела на мужа долго и пристально.

— Я сюда прямо из Парижа. Это очень странно. Собиралась уезжать к весне в Ниццу, складывала вещи и нашла у себя в гардеробе гнездо мыши; мать убежала и осталось три детеныша, — они были без шерсти и едва ползали. Я все дни проводила с ними, но на третий день умер первый, затем ночью оба остальные... И на утро я стала собираться в Россию, сюда, к вам, где снег, снег... Вы знаете, в Париже нет снега, а у нас скоро Рождество, русское Рождество.

Ксения Ипполитовна замолчала, скрестила пальцы, поднесла руки к щеке; были пальцы ее тонки и длинные,

с полированными ногтями; мелькнуло в лице сиротливое и грустное.

— Говорите, Ксения Ипполитовна.

— Я ехала нашими полями и думала о том, что жизнь здесь скучна и проста, как эти поля, но что жить здесь можно не только от вещей. Знаете, — жить от вещей. Меня зовут — я еду, меня любят — я позволяю любить, в витрине бросилась в глаза вещь — я покупаю. Если бы не было тех, кому не лень меня двигать, — я бы не двигалась... Я ехала нашими полями и думала о том, что так нельзя. И еще я думала о том, что приеду к вам и расскажу о мышах... Париж, Ницца, Монако, платье, английские духи, вино, де-Виньи, нео-классицизм, любовники... У вас все по-старому.

Ксения Ипполитовна встала, подошла к окну.

— Снег, синь, как в Норвегии. В Норвегии я бросила Вальпянова. В Норвегии люди похожи на клейдейстелей. Лучше России — нет. У вас все по-старому. Вы молчите. Вы простили — тот июль?

Полунин подошел, стал рядом.

— Да, простил, — сказал серьезно. — Снег в сумерки всегда синий.

— А я не простила того июня. А в читальной — тоже по-старому. Помните, мы читали вместе там Мопассана.

Ксения Ипполитовна пошла к читальной, отворила дверь, вошла. В читальной были книжные шкафы, где за стеклами стояли ровные золоченые томы, стоял диван и около него большой круглый полированный стол. В окна шли последние желтые лучи, свет здесь был не холодно-синим, как в кабинете, — восковым, теплым, и опять лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину необыкновенным — зеленым, а волосы — цвета мальв; глаза ее, большие, черные, пустые в своей глубине, смотрели упорно.

— Вам, Ксения Ипполитовна, бог дал величайшее — красоту.

Ксения Ипполитовна посмотрела пристально на Полунина, усмехнулась.

— Величайший соблазн дал мне бог... Вы мечтали о вере — нашли ее?

— Да, нашел.

— Вера — во что?

— В жизнь.

— Ну, а если ни во что не верить?

— Невозможно.

— Не знаю. Не знаю... — Ксения Ипполитовна положила руки на голову. — В Париже и Ницце меня ищет сейчас японец Чики-сан. Я не знаю, — знает ли он про Россию. Я, вот уже неделю, — как умер последний мышенок, — не курю, а раньше я курила египетские. Да, — невозможно не верить.

Полунин подошел быстро к Ксении Ипполитовне, взял ее руки, опустил их; были глаза его очень внимательны; он сказал серьезно и тихо:

— Ксения, не надо грустить. Не надо.

— Вы меня любите?

— Как женщину — нет, как человека — да, — ответил твердо, тихо.

Усмехнулась, опустила глаза. Пошла быстро, села на диван, поправила черную свою юбку, улыбнулась.

— Я хочу быть чистой.

— Вы очень чистая. — Полунин сел рядом, сгорбился, поставил локти на колена.

Молчали.

— Вы постарели, Полунин.

— Да, постарел. Люди стареют, но это не страшно, если они нашли.

— Да, если — нашли... А теперь — как? Почему — Алена?

— Что же, я устал... Рублю дрова, топлю печи, живу, чтобы жить, читаю Франциска Ассизского, думаю, и мне очень грустно, что это никогда не повторится. Он, я знаю, смешон, — но у него вера. А Алена — я люблю ее, навсегда.

— А вы знаете, как пахнут маленькие мышата?

— Нет. Это зачем?

— Они пахнут, как новорожденные — дети людей, конечно. У вас дочь, Наташа. Это самое главное.

Солнце померкло, на западе осталась в холодных облаках огромная красная рана, снега были фиолетовыми, в комнатах стала лилово-черная муть. Вошла Алена, из раскрытой двери в кабинет слышно было, как громко гудели провода, — по полям к вечеру пошла колкая серая поземка.

Вечером поднялись и пошли по небу поспешные мутные облака, и в них луна плясала. Крутилась — свивалась, ползла поземка, ветер дул по-стариковски, злобно и колко. Было в полях сиротливо, непокойно и нехорошо, темными провалами заливалось небо.

В семь пришли Архиповы.

Ксения Ипполитовна знала Архиповых давно, еще до их свадьбы, знали друг друга безразлично. Архипов поцеловал руку Ксении Ипполитовны, здороваясь, заговорил о загранице, — знал и уважал Германию. Перешли в кабинет, разговаривали, немного спорили; говорить, собственно, было не о чем. Вера Львовна молчала, как всегда, уходила к Наташе. Полунин был тоже молчалив, ходил по комнате, заложив руки назад. Ксения Ипполитовна, верно бессознательно, шутила с Архиповым тоном своевольным, кокетливым, — Архипов отвечал серьезно, точно, покойно, — не умел вести разговоров легких и острых, чувствовал, верно, неловкость. Заговорили о Рождестве; Ксения Ипполитовна доказывала, что Рождество надо

провести шумно, с сочельником, со святками, тройками, с Новым годом. Из пустяков, из того, что Ксения Ипполитовна утверждала некий промысел в святочном гадании, вспыхнул между Полуниным и Архиповым спор о старейшем, — о вере и безверии. Архипов говорил покойно и твердо, Полунин волновался, путался и сердился. Архипов утверждал, что вера, как и все чувства, как инстинкт, — не нужна и вредна, что есть единственное непреложное — ум, что нравственно только то, что разумно. Полунин ответил, что умное и неумное — не мерило жизни, ибо — разумна ли жизнь? — что без веры — смерть, что в жизни непреложна лишь трагедия веры и духа.

— А вы знаете, что такое мысль, Полунин, — мысль?

— О, да. Знаю.

— Не улыбайтесь, ведь вы знаете, что мысль убивает все? Продумайте, промыслите трижды ваше святое — и оно будет простым, как стакан лимонада.

— Но смерть?

— Смерть — это уход в ничто. Это всегда у меня в запасе, — когда будет скучно. Пока мне хочется жить и делать.

Когда спор уже иссякал, Вера Львовна сказала покойно, как всегда, и тихо:

— В жизни трагично только то, что нет ничего трагичного, а смерть — смерть только одна, когда человек умирает физически. Поменьше метафизики.

• Ксения Ипполитовна слушала спор непокойно, насто-роженно, — горячо ответила Вере Львовне.

— Но все-таки есть трагедия — отсутствие трагедии?

— Да. Только одна.

— А любовь?

— Нет. Любви — нет.

— Но вы же ведь замужем?

— Я хочу ребенка.

* Ксения Ипполитовна сидела с ногами на диване, поднялась на колени, протянула руку, крикнула:

— А-а? Ребенка! Это не инстинкт?

— Это закон.

Заспорили женщины. Затем спор иссяк. Архипов предложил преферанс. Раскрыли зеленый столик, поставили по углам свечи, играли не спеша, молчаливо, со старинной записью, по-зимнему. Архипов сидел прямо, положив локти на стол, держал их под прямым углом. За домом свистел ветер, вьюга разрасталась, где-то сиротливо, тоскливо скрипело, хлябало железо. Пришла Алена, села около мужа, сидела тихо, скрестив на груди руки. Коротали вечер.

— Последний раз я сидела за преферансом в шхерах, в маленькой деревенской гостинице, была страшная буря, — Ксения Ипполитовна заговорила задумчиво. — Нет, в жизни есть большие трагедии и маленькие трагедийки.

Ветер свистел упорно, тоскливо, в окна хлестала метель.

Ксения Ипполитовна засиделась до позднего часа, Алена упрашивала ее остаться ночевать, — не осталась, уехала.

Полуцин провожал до околицы. Поземка летела стремительно, больно кололась, свистел ветер, была кругом зеленая, снежная муть, луна прыгала наверху в облаках. Лошади шли трудно, шагом. В полях был мрак.

Возвращался Полуцин один, без дороги; ветер дул в лицо, снег слепил глаза. Заходил убирать лошадей; Алена встретила его у кухни, поджидала, — было лицо ее тихим и скорбным; подошел к ней, обнял, поцеловал.

— Не грусти, не бойся. Тебя одну люблю, только. Знаю, отчего затавилась.

Алена взглянула благодарно и нежно, улыбнулась застенчиво.

— Ты не понимаешь, — одну любить. Другие этого не умеют.

Над домом выл ветер, в доме была тишина. Прошел в кабинет, сел к столу; заплакал ребенок, ходил со свечей к нему, принес его Алене, Алена кормила. Ребенок был маленьким, хрупким, красным, — нарождал безмерную нежность в сердце Полунина. Одиноко светила затекшая свечка.

На рассвете прозвонил телефон. Полунин встал уже. Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах была синяя муть, окна замело снегом, вьюга стихла.

— Я вас разбудила, вы уже легли? — говорила Ксения Ипполитовна.

— Нет, я уже встал.

— Чтобы бодрствовать?

— Да.

— А я только что приехала. Буран кружил нас полями и без дорог, все дороги замело... Я ехала и думала, думала, — о снеге, о вас, о себе, об Архипове, о Париже... О, Париж!.. Вы не сердитесь, что звоню я, о, мой аскет... Я думала о нашем разговоре.

— Что — думаете?

— Вот... вот, мы с вами говорили... но вы простите, — ведь так вы не можете говорить с Аленой. Она ничего не поймет?.. Как же, — как?

— Можно совсем не говорить и все понимать. Есть нечто, что соединяет без слов не только меня и Алenu, но меня и весь мир.

— Ну да... — Ксения Ипполитовна сказала тихо, — простите, — баба Алена...

— Я ее люблю, и у меня от нее дочь.

— Ну да. А мы любим без детей... мы встаем не утром, а днем, и днем скучаем, чтобы веселиться ночью, ког-

да вы разумно спите, — крикнула Ксения Ипполитовна. — Мы „гейши фонарных свечений“, — помните у Анненского? Ночью мы сидим в ресторане, пьем вино и слушаем ночное кабаре. Любим без детей... А вы? — вы живете разумно, правдивою жизнью, ищете правду... что же!? — правда!.. — крикнула зло, насмешливо.

— Это несправедливо, Ксения, — Полуниин ответил тихо, опустив голову.

— Нет, погодите! Тоже из Анненского: „и было мукою для них, что людям музыкой казалось...“ мы — „гейши фонарных свечений“, но — „нет у Киприды священной несказанных нами люблю...“

— Это несправедливо, Ксения.

— Несправедливо? — крикнула, расхохоталась и вдруг затихла, заговорила скорбно, еле слышно: — „но нет у Киприды священной несказанных нами люблю...“ люблю-у... Милый, тогда, — в том июне я смотрела на вас, как на мальчика, а теперь я кажусь себе маленькой, маленькой, а вы — большим, который защитит... Как сиротливо было ночью одной в полях! Но это — искупление... Вы единственный, кто любил меня свято. Спасибо вам, но у меня нет уже веры.

Рассвет был серым, медленным, холодным, красно бурел восток!

III

После Парижа встретил Ксению Ипполитовну старинный дом, опирающийся на свои колонны целое столетие, архитектуры классической, с фронгоном, двухсветною залю, с гулками коридорами, с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде, — встретил дом, уже отживший, ее, последнюю в роде, безразлично и хмуро, холодными комнатами, темными и страшными ночью, многолетней пылью. Прежнее помнил один вет-

хий лакей, — помнил прежних господ, старую барскую ширь; горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски.

Поселилась Ксения Ипполитовна в комнатах матери; сказала старику, что порядок будет прежний по старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год — весь уезд, все дворянство „даже без приглашения почитало за долг“ приехать, и что теперь же надо готовить запасы.

Поднимал старик Ксению Ипполитовну в восемь, подавал кофе и после кофе говорил сурово:

— Вам надо, барыня, пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать приходо-расходы, управляющий придут. Так барин всегда поступали.

И делала все так, как указывал старик, — по прежнему порядку, была тиха очень, покорна, печальна, читала толстые наивные книги, те, где „ш“ путалось с „т“. И лишь иногда, тайком от деда, звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью и любовью.

На святках катались на тройках, гадали; Ксении Ипполитовне вышла из воска колыбель; ездили в город ряженными, заезжали на любительский спектакль в клуб, Полунин рядился лешим, Ксения Ипполитовна — лешего дочкой, березницей. Ездили к соседним помещикам. Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем; с восковым от солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.

IV

К Новому году, к шумному балу в доме, старик поднял суматоху, чистил паркет, расстилал ковры, наливал

лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков сервизы и серебро, заготавливал нужное для гадания, — к вечеру дом был готов, парадные комнаты блистали огнями, у дверей стояли парнишки из села.

Ксения Ипполитовна проснулась в этот день поздно и не вставала, лежала до обеда в кровати, туда ей приносили кофе и завтрак, лежала неподвижно, закинув руки за голову. День был яркий, в окна шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глянцеви́тый пол, отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах; у внутренней стены стояла двухспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении Ипполитовны было скорбно и утомлено. Перед обедом принимала ванну, долго одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим. Звезды казались огромными, небо — атласным, синим, снег — бархатным, зеленоватым.

Полунин приехал рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной; горел камин, лампы не было, у камина стояли два вольтеровых кресла, окна, закругленные вверху, в инее, были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые.

— Я грущу сегодня, Полунин.

Была Ксения Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косы, руку для поцелуя подала.

Сидели рядом в креслах.

— Я ждала вас в пять. Сейчас шесть. Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не захотели побыть со мной наедине, — не догадались, что я хочу

этого, — говорила Ксения Ипполитовна тихо, немного холодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла узкими своими ладонями. — Вы очень молчаливы, дипломат... Как сегодня в поле? Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю.

— Да, холодно, очень, но тихо, — сказал не сразу, помолчал. — Когда мы с вами говорили, вы не сказали всего. Говорите сейчас.

Ксения Ипполитовна усмехнулась.

— Я уже все сказала... Холодно очень? Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том, — об июне... Сейчас принесут чай.

Встала, позвонила, вошел старик.

— Скоро чай?

— Несу, барыня.

Ушел и принес поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоквой, медом, расставил на столиках у ручек кресел.

— Свету не прикажете?

— Нет. Ступайте... Притворите дверь.

Старик ушел, посмотрел внимательно и понимающе.

— Я вам уже все сказала. Как вы не поняли? Пейте чай.

— Говорите, Ксения.

— Пейте чай, подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните, о мышах? Вы не поняли? — говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле прямо.

— Нет, значит, — не понял.

— Ах боже мой! Вы раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки, — вы ведь здоровы и счастливы.

— Вы опять хотите быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас.

— Ну, хорошо. Это пустяки.

Ксения Ипполитовна усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги.

— Вот в печке сгорят огни и потухнут, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные разговоры. Быть может, правы Архиповы, — когда умно — надо убить, когда умно — надо родить. Разумно, умно, честно... — Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо, неровно: — Вы меня любите? А вы хотите меня — как женщину? — целовать, ласкать, — понимаете? Нет, молчите! Меня, очищенную, — я приду к вам так, как вы ко мне в том июне... Вы не поняли о мышах? Или так. Вы заметили, вы думали о том, что в жизни человека не меняется и остается одним навсегда? Нет, подождите... Было сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем — и все менялось и меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие, — и человек, и рожь и мышь, рождаются, родят и умирают... Я собиралась в Ниццу, там ждал меня любовник, нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького, милого, моего, — и я вспомнила о вас..! И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить свято... Я могу родить!

Полунин встал около Ксении Ипполитовны, внимательное лицо его было серьезно и взволнованно.

— Не бейте меня, Полунин.

— Вы чистая, Ксения.

— Ах, вы опять с чистотой и грехом... Я глупая, с приметами и поверьями, баба, и больше ничего, — как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. У меня под сердцем пусто. Хотите быть отцом моего ребенка? — Встала, выпрямилась, пристально посмотрела в глаза Полунина.

— Что вы говорите, Ксения? — Полунин спросил тихо, серьезно, горько.

— Что я хочу, я сказала. Я хочу ребенка. Дайте мне ребенка, а потом уходите, куда... к своей Алене... я помню тот июнь, июль...

Полунин выпрямился, сказал твердо:

— Я не могу этого, Ксения. Я люблю Алену.

— Я не хочу любви, мне не надо ее. О, я ее знаю!.. ведь я люблю вас... — Ксения Ипполитовна сказала тихо, едва внятно, провела рукой по лицу.

— Мне уйти, Ксения?

— Куда?

— Как — куда? Совсем.

Подняла глаза, взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула:

— А-ах, опять эти трагедии, долги, грехи! Ведь просто же все! Ведь сходились же раньше вы со мною!

— Я никогда не сходилась, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти.

— О, какой жестокий, аскетический эгоизм! — крикнула зло, но затомилась, стихла, села в кресло, закрыла лицо руками, замолчала.

Полунин стоял около, сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкобород, в блузе, лицо его было взволнованно, глаза смотрели скорбно.

— Не надо, не уходите... Это так, это пустяки... Ну, хорошо... Я ведь говорила чисто... Не надо... Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю, — нельзя... Мы — „гейши фонарных свечений“ — помните Анненского?... Дайте руку.

Полунин протянул большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны, рука ее была безвольна.

— Вы простили?

— Я не могу ни прощать, ни не прощать. Но — я не могу.

— Не надо... Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните: — „А если грязь и низость — только мука по где-то там сияющей красе...“ Не надо, все кончено... О — о! все кончено!

Ксения Ипполитовна крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхохоталась громко и нарочито весело.

— Будем гадать, будем шутить, веселиться, пить... помните — как наши деды!.. Но ведь наши бабки имели приближенных — кучеров.

Она позвонила. Вошел лакей.

— Принесите нового чаю. Подложите дров. Зажгите лампы.

Камин горел палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла, на стенах во мраке поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки назад; звуки шагов утопали в коврах.

За домом зазвенели колокольцы тройки.

Гости съезжались к десяти, — из города, соседние помещики — все, кто „почитал за долг“, по старинному обычаю, — их принимали в гостиной. Тапер — сын священника — заиграл на рояли польку-мазурку, барышни пошли в зал танцевать, старик и два парнишки принесли воску, свечей, тазы с водой — гадали. Ввалилась компания ряженных, медведь показывал фокусы, гусляр-малоросс пел песни. Ряженные принесли с собою в комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарековал, плясали русскую. Было весело, по-помещичьи — бесшабашно, шумно. Пахло топленным воском, горелой бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась, протанцевала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы переплела она из кос в большую прическу, на шею повесила старинное кольцо из жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы, шел толк об уездных новостях.

В половине двенадцатого лакей отворил двери в столовую, объявил торжественно, что ужин готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все тоже поднялись.

— Я женщина. Я пью за наше, за женское, за тихое, за интимное, за счастье, за чистоту, за материнство! — говорила громко, стояла неподвижно. — Пью за святое... — не кончила, села, склонила голову.

Кто-то крикнул „ура“, кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы. Кричали „ура“, чокались, пили.

Затем снова пили. Почетных гостей и запьяневших обносили „чарочкой“, вставали, кланялись, пели „чарочку“, басы гудели:

— Пей до дна, пей до дна!

Первую чарочку Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась, не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками, сказал:

— Я не пью вина, никогда.

Басы заглушили:

— Пей до дна! Пей до дна!

Полунин потемнел, поднял руку, останавливая, сказал твердо:

— Господа. Я не пью никогда, и не буду пить.

Ксения Ипполитовна посмотрела в глаза ему, сказала тихо:

— Я хочу, я прошу... Слышите?

— Я не буду, — ответил тоже тихо.

Ксения Ипполитовна крикнула:

— Он не хочет. Не надо насиловать волю...

Отвернувшись, поднесла „чарочку“ председателю, потом передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо скорбная, сразу постаревшая.

Ужинали долго, потом перешли в зал, танцевали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в омонимы, мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за преферансом и винтом, толковали.

Разъехались гости к пяти, остались Архиповы и Полуниин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у себя кофе; сидели вчетвером, уставшие, за маленьким столиком. Едва начинался рассвет, окна стали водянисто синими, свет свечей блекнул. В доме, после шума и беготни, замерла тишина. Ксения Ипполитовна была усталой очень, но хотела держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели молча, говорили безразлично.

— Еще год канул в вечность, — сказал Архипов.

— Да, на год ближе к смерти, на год дальше от рождения, — ответил тихо Полуниин.

Ксения Ипполитовна сидела против него, — глаз ее он не видел, — поднялась быстро, перегнулась через столик к нему и сказала медленно, ровно, зло:

— Н-ну-с, господин святой! Здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я женщина, и я могу хотеть материнства... я просила вас выпить вина... вы отказались? Ближе к смерти, дальше от рождения? Уби-рай-тесь вон! — крикнула и зарыдала, громко, сиротливо, закрыла лицо руками, пошла к стене, уперлась в нее и рыдала.

Архиповы бросились к ней. Полуниин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты.

— Я просила не страсти, не ласки, — у меня же нет мужа! — рыдала, вскрикивала, была похожа на маленькую

обиженную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками, бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать.

Рассвет уже светлел, в комнату входили рассветные, не чистые, мучительные, водянистые тени, лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными; голова Архипова, плотно обнятая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный.

— Слушайте, вы, Архиповы. Если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть чистой, пришла и попросила бы ребенка, — ответили бы вы так, как Полунин? — А он сказал: нельзя, это грех, он любит другую. Вы так бы ответили, вы, Архипов, — если бы знали, что у этой женщины это — последнее, одно? Одна любовь, — Ксения Ипполитовна сказала громко, всматривалась по-очереди в лица Архиповых.

— Нет, разумеется, ответил бы по-другому, — Архипов ответил тихо.

— А вы, жена, Вера Львовна, — слышите? Я говорю при вас.

Вера Львовна наклонилась к Ксении Ипполитовне, положила руку на ее лоб, сказала:

— Не печальтесь, милая, — сказала тихо, тепло, нежно. Ксения Ипполитовна вновь зарыдала.

Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах посинело, свечи блекли и их свет становился сиротливым и ненужным; из мрака выползали вещи, книжные шкафы, диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были службы, синий снег, суходол, лес, поля... Справа у горизонта покраснело холодно и багрово.

V

Полунин ехал полями. Поддубный шел машисто, ходко, верно промерз ночью. Поля были синими, холодными.

Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода. В полях была тишина, раза два лишь, пиикая однотонно, обгоняли Поддубного желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя, — садились на придорожные вешки. В лесу потемнело, там еще не ушла окончательно ночь. В лесу Полунин заметил беркута, он пролетел над деревьями, поднялся в высь, полетел к востоку, — на востоке кумачевой холодной лентой вставала заря, — снега от нее лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел сгорбившись, понуро думал о том, что — все-таки, все-таки от закона он не отступил, как не отступит теперь уже никогда.

Дома Алена уже встала, хозяйничала, — обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью, смотрел в спящее его, покойное личико.

День был ярким, в окна ломались солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне. Но плотно лежали еще снега.

СТОРОНА НЕНАШИНСКАЯ

I

Бог: перерекламлен, переболтан, никто не верит, стащили за многое с неба на землю, смотрят, как у реки чужого утопленника.—Утопленник посинел:—солнце июльское, но кажется, что утопленнику холодно, точно сорок мороза;— качнули, положили на тачку, и из ушей, изо рта хлынуло зеленое:—и, все же, в июле, в зное, страшновато, потому что вот тут, рядом, никогда непонятная, *смерть*,—и январский холодище бежит по лопаткам: *смерть!*

Монастырь: мужской, домовитый, с подвалами для капусты, с маковками, как лук, для небес. Монахов разогнали вместе с богом: кто в коммунхоз, кто в конокрады; двое при колокольне, один за нотариуса, другой за медика: нотариальная контора и амбулатория в колокольне, в каморке за сводами. В монашских кельях — караульная команда, песни, митинги.

Город: вокруг монастыря камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода, мухи; — вот-вот сорвется кто-то с цепи от скуки и побежит благим матом — поюродствовать с горя.

Люди: с горя живут, с горя родились, его величество обыватель, купец, мещанин, — а те, кто не продает и не шьет сапог, кому продают и шьют, кто чем-то мучится, где-то заседает, строит новую Россию, голодает — этот к городу

не относится. У купцов, со скуки возникших, для этой скуки такие перины, что мозг должен расплавиться.

Годы: идут.

Год: 1925. —

II

Земотдел снял (и домовито поступил, хорошие) подвалы в монастыре для коммунальной капусты. Десятник Дракин их очищал от мусора, приводил в порядок с помощью двух слободских девок; — девки — слободские, Дракин — жуковский, первый в трактире „Европа“ человек. Около все время тискался монашенка (бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе, точно не выпался).

Девки таскали сор, и на дне в подвале (был август, жара) в углу увидели доски, доски подгнили, девки сели отдохнуть, девка вместе с доской провалилась в яму, — Дракин полез осмотреть. В яме были сундуки, в сундуках была церковная утварь, серебро и золото и чудотворные иконы.

Дракин яму вновь завалил, досками уклал, а девкам — по пять золотых, чтобы молчали. Девки купили себе новую обужу-одежу: в земотделе отбоя не было от слободских баб, — просились на службу: хорошо платят в земотделе!

Вот и все для начала.

Прошел год, — то есть: зима, когда надо купцу спать по двенадцати часов, дуреть от сна и постели, от экономии пребывая в лампадках; весна, когда купцу надо чертогонить, чтоб не умереть от тоски по прекрасному (у каждого веснами есть такая тоска) и, чертогоня, чертогонить свою душу; осень, когда надо на зимнюю спячку и еще рассчитаться с летними подлипками и чаями за палисадом.

И купчиха Лардина побила стекла купчихе Посудиной, обе так называемые нэпманши: за мужа. Орала на улице непристойности, потому что у нее был муж, которому она не потакала, а Посудина была женщиной обильной,

добрый, муж был безногий, тихий, и жене потакал, и жена ему потакала, когда он пьянствовал с Лардиным.

Стекла были побиты, и Посудина, обсудив вопрос с мужем и Лардиным, подала на Лардину в народный суд — за срам и за колотые стекла.

Лардина на суде держала себя не тихо. Говорила не по сути дела, но в корень вещей. Орала:

— Я женщина, измываться над собой не позволю. Этот безногай чорт — чего глядит? — или золото да самогон глаза застыт? — Это нешто правильно от живой жены к чужой бегать? — А то и пусть бегаёт, не нуждаемся, своего заведем хахаля, — а вот он вещи мои ей таскает, а у меня дети. А то вот скажу суду, как церковное золото продавали в Москву, на какие деньги открыли торговлю-компанию...

Суд, хотя она только грозилась ему рассказать, дело о золоте воспринял живо.

Судебным следователем был (потом только это бросилось в глаза!) — бывший студент Башкин, т. е. родной брат Посудиной. — Лардину отправили в Москву на предмет психического испытания (потом только узналось, что ездила она по адресу, куда сплавлялось золото!) — испытание установило ее сумасшедшей, — бумагу представили судебному следователю и студенту Башкину, и Башкин направил дело к прекращению.

Дело пошло в зимнюю спячку.

Узналось же дело — вот каким путем.

Десятник Дракин попал в тюрьму — по совершенно самостоятельному делу: — по обвинению в „краже с убийством“, по обвинению в соучастии. Взяли его прямо из трактира „Европа“.

Ну, и вот этот самый Дракин, по русско-щедринскому обычаю, топясь, решил топить и все, что можно, — и рассказал, что там-то и там достали они с купцами (сиречь

нэпманы) Лардиным и Посудиным двадцать один фунт золота и шесть пудов серебра, переливали все это из церковной утвари в слитки в бане у Лардина, а продавали — и прямо в Москву и местному еврею Молласу, а остатки спрятаны в бане у Посудина.

Вот и все.

III

Тюрьма: на главном в городе месте, вокруг каменная стена и там белый дом, — и в доме только в первую ночь страшно, потом узнают имя-отчество начальника, и имена сторожей, и приучиваются, как прятать деньги, спички и карты, как коротать время, и свои появляются клопы будней. В тюрьме коридоры, от них за волчками двери. Утром подметают сор, и поднимается солнце, и идут за кипятком, и шутят и здороваются, — кто знает, как прошла ночь, каким горем и болями какими? —

Девок, что таскали из подвала сор, выпустили через неделю; неделя в тюрьме у них прошла так: первые сутки они были вместе в один голос, а через двое суток, арестанты по их — если не инициативе, то безмолвному соглашению — и в их пользу — устроили публичный дом, в очередь, в мужской камере. Потом их отпустили за их бестолковость.

Купчих Лардину и Посудину посадили вместе, и они очень сдружились, жили мирно, изводили клопов далматским порошком, а надзиратель Петр Игнатьевич разрешил им иметь при себе керосинку, чтобы готовить самостоятельно от арестантов себе и мужьям и дежурному ключнику. Одежда они принесли собственные, перин не допустили. Они и донесли на слободских девок, потому что их мужья стали интересоваться мужской камерой.

В тюрьме было очень тепло, топили хорошо. Еврея Молласа посадили вместе с монахом (долго искали монаха „бородатый, рыжеватый, точно медведь в рясе, точно спро-

сонья“; таких монахов нашли несколько, никак не могли установить, который из них тискался у подвала, и посадили первого попавшегося).

Следователь Башкин, он же некогда студент второго курса юридического факультета, в давние времена перешедший на второй курс по инерции, две недели сидел покойно, потом, вспомнив туманно, что в тюрьмах объявляют голодовки, как требование, плохо поняв, в чем тут дело (ибо рассуждал, что от голодовки выигрывает только тюрьма — меньше идет пищи), — все же объявил голодовку, не ел шесть дней, требовал, чтобы его признали невиновным и отпустили на свободу, к виновным же приплетал явно неподходящих, — но в тюрьме смотрели на дела так же, как и он, и решили: пусть ломает дурака, самому же скучно не есть, а государству доход, не ест — значит кается!

Потом нескольких из них перерасстреляли, — тут же за тюрьмой, на церковном дворе тюремной церкви.

Годы: идут.

Город: камень, дерево, палисады, скука, народный сад, сельтерская местного завода Люлин (и) К⁰, мухи; вот-вот сорвется пожарная каланча и побежит благим матом — от тоски, от одури, от горя, от смердяковщины — запляшет в народном суду и по всему небу разведет такую матершину, что небу станет жарко!.. — —

БОЛЬШОЕ | ЕРДЦ |

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На глаз европейца — все китайцы однолицы; на концессиях европейцы считают бичом, когда один китаец наработает даян сто и уходит к себе в Чифу, продав место брату или соседу за два даяна, — вместе с паспортом. Поэтому надо было иметь не-европейский глаз и не-европейское ухо, чтобы услышать у заводского забора короткий разговор.

— Ты — монгол?

— Нет, я китаец. Я хочу быть с Россией. А ты — монгол?

— Да, я монгол. У вас в поезде едет монгол-бой, из Шин-Барги. Мы оба из Шин-Барги, из Кувот-улана. Я поеду вместо тебя.

— Шанго.

— — по эту сторону забора — китайский город, муравейник китайского города. Улица забита людьми, рикшами, фонарями, пагодами, плакатами изречений, написанных иероглифами, драконами, красками красными, синими, желтыми, черными, резкими, лакированными. В лавочках на улице вяжутся зонтики, клеятся веера, жарятся на бобовом масле рыба и лук. Мужчины идут в юбкоподобных черных халатах с иероглифами на спине, а женщины в синих ватных штанах, ножками, исковерканными колодками красоты. В храме, кинув копейку в ящик чортообразному богу, молещик дубасит в гонг, чтобы чортоподобный

Бог услышал его молитву. Над муравейником улицы висит шум гонгов, выкриков, свистов, писков, воев, звонков рикш. Запах смолок из кумирен смешивается с запахом бобового масла, ползущего с завода, и по улице ползут запахи священных курений, человеческого и свиного пометов, чеснока, инжира, сладостей. Фонари и красные изречения около публичного дома летят по ветру в пыли. Над улицей нету неба, ибо небо застлано тряпками драконов, вывесок и изречений, повисшими через улицу с дома на дом.

И если для англичанина все китайские лица на одно лицо, — то для тысяч китайских глаз лица англичан — очень приметны, до мелочей, до иголки в галстухе, до пломбы во рту. Англичане сидят на повозках рикш, ноги прикрыв плéдами. Лица англичан еще безразличнее, чем лица китайских будд. Гологрудые рикши бегут поспешной рысью. Толпа раздвигается перед рикшами англичан. Рикши осаживают англичан перед воротами завода.

— В этом городе тридцать два маслобойных завода, — говорит англичанин другому англичанину. — До глазной линии здесь семнадцать километров. Мы проложим сюда ветку. И мы будем брать надбавку к общему тарифу по одной двухсотой даяна с пуда. Смит, подсчитайте, сколько это даст компании?

Мистер Смит откликнулся со своего рикши:

— Слушаюсь, господин Грэй, — я знаю, что сотые даяна имеют свойство превращаться в сотни даянов, а из даянов всегда легко сделать фунты.

— — по ту сторону забора — маслобойный, обрабатывающий бобы завод. На заводских воротах, кроме китайского изречения, маленькая, синим по белой эмали, английская вывеска: „лимитэд“ и прочее. Двор маслобойного завода завален горами бобовых мат. В деревянном бараке заводского корпуса, в температуре сорок выше нуля по Реомюру, китайцы работают вручную, китайцы

работают голыми. Там в чанах парятся бобы. Туда в чаны их тащат китайцы на тачках, положенных на спины, а не на колесики. Распаренные бобы дымятся белым паром: стало быть, температура пара выше сорока по Реомюру, — пар душит удущьем бобового запаха. В корзинках, сделанных из рисовой соломы, волоком по земле, голые люди тащат распаренные бобы к кольцам прессов. Два голых человека высыпают бобы в кольцо пресса: мышцы голых тел вздуваются до синевы, обессиленные людские зады дрожат мелким горошком под тяжестью горячих корзин. Тот, что приволок корзину, идет обратно за новой корзиной бобов, — тот, что принял корзину бобов в кольцо пресса, прыгает в кольцо и пляшет там на бобах, уминая их, — и пляшет очень дикий и очень поспешный танец, сваривая ноги в пару бобов. Кольцо с бобами наваливают на кольцо, — так до потолка — до потолочной щели, откуда идет свет, — и тогда китайцы свинчивают эти кольца, ломовыми лошадьми, ложась на колья, воткнутые в ворот, — свинчивают кольца с бобами, чтобы выжать из бобов масло. Масло стекает зеленоватыми струйками. Люди тужатся у ворота, ложась на колья, сворачивая их, — и под человеческой кожей ползут желваки синих мышц, а по коже стекает зеленоватый в мути пара — пот.

Англичанин зажимает нос и выходит из прессового отделения.

В дробильном отделении, где дробятся бобы в крупу, в барабанах стоят женщины, или старухи, или подростки, голые, с тряпками на чреслах. Они вертятся вместе с барабаном, посредине барабана, подметая сор и сортируя бобы: на этой работе женщины, — старухи или подростки, безразлично, — меняются каждые три месяца, ибо через три месяца такой работы люди умирают. На эту работу — у отцов и сыновей — женщины покупаются с тем условием, что жалованье выплачивается вперед, отцам иль сыновьям.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Снега нет и земля камениста. О солнце трудно сказать — то ли топором, то ли долотом оно выдалбливает теплоту и краски: на солнце двадцать градусов тепла, в тени двадцать градусов мороза, и тени лиловые, точно мороз здесь лиловый, — а там, где долотит солнце, лучи золота не золоты, а — голубые, блеклые. Непонятно, как солнце может греть, — и можно строить теории о том, что особливость линии и красок восточного искусства объясняются именно этим голубым солнцем, этим голубым светом. Воздух прозрачен до того, что путаются перспективы. Снега нет, и земля камениста, желтая, блеклая. Небо наверху желто и блекло. Сопки вдали направо и налево за полотнами железной дороги — точно кто-то аккуратнейше насыпал в щели из неба горы песка — желты, облезлы, ненужны, жильё хунхузов.

Там впереди — синие вершины Великого Хингана. Здесь — Китай. Там — Монголия. Там дальше — Урал и Россия, огромная земля многих народов, ушедших в справедливость. Там дальше — Европа, Англия.

У перрона стоит коротенький поезд, три литерных вагона, ресторан, обсервешэн-кар, — площадка с автомобилями — поезд стоит паровозом к Монголии. У обсервешэн-кар спущены шторы, и с подножек на платформу положены сходни, покрытые красным ковром. Обсервешэн-кар существует к тому, чтобы в нем сидеть и любоваться природой, тем, что убегает назад от поезда. Обсервешэн-кар последний в поезде вагон, и задняя его площадка превращена в терраску, где можно посидеть и посмотреть, как все течет. Обсервешэн-кар — выкрашен в блестящую, синюю краску: — и, если внимательно присмотреться, видно, как под краской скрыты листы стали, — вагон блиндирован до окон: — это к тому, чтоб, если на-

падут хунхузы, можно было бы спастись, лежа на полу. На перроне перед обсервешэн-кар стоит отряд китайских солдат, в меховых шапках и в ватных штанах.

Полдень. Солнце долотит землю. Ночью была невероятная луна, красная, жестокая, — та, которая предугадывается философией бытия китайского народа и тем таинственным, что делает непонятной в своей пассивности Срединную Республику Голубого Солнца, — но сейчас буденный полдень.

О красному ковру у подножек обсервешэн-кар — в обсервешэн-кар входят англичане, в бобровых шубах и шапках, высокие, белолицые люди. Идущий вперед, самый высокий, говорит начальнику станции:

— Поезд уйдет ровно без четверти час.

Начальник станции отвечает:

— Слушаюсь, господин Грэй.

В коридоре обсервешэн-кар низко кланяется англичанам бой, в белых перчатках и в белой куртке: англичанам не дано видеть лиц людей желтой расы. Бой снимает пальто с англичан. В салоне обсервешэн-кар, в голубом бархате и в рыжей коже — голубой и рыжий воздух. Англичане садятся в кресла. Бой разливает сода-виски, перед ленчем.

— Олл-райт! — говорит мистер Грей весело. — Мы проведем сюда ветку. Японцы намечают дорогу параллельно нашей, дорога пойдет южнее нашей линии. Господин Смит, мы сделаем маленькую операцию: мы проведем ветки и к югу и к северу от главной линии. Мы удвоим тариф с северных веток, — а с южных — ну, что же — мы погоним грузы ниже себестоимости, в угоду японцам, чтобы они не трудились постройками дорог! —

Без четверти час, минута в минуту, отряд китайских солдат берет винтовки на караул, чрезвычайно сиротливо играет военный рожок, — и поезд двигается с места. Мистер Грэй идет на терраску обсервешэн-кар махнуть

рукой салютующим солдатам, — и безразличным взглядом мистер Грэй окидывает местность — маты бобов у станционного пакгауза, избушку станции, вола у переезда, запряженного в телегу о двух колесах, китайца омолола, сопки вдали, — фанзы, разбросанные по долине и окруженные земляными валами от грабежей хунхузов.

Дальше чин дня и порядков мистера Грэя идет по чинам и порядкам, определенным у англичан от сотворения английского мира. И за ленчем по чинам подают едово бои-лакеи, в белых перчатках и в белых бесхвостых фраках. После ленча чин дня идет в обсервешэн-кар.

Совсем неверно, что у англичан складки брюк должны быть столь же прямолинейны, как проборы волос, а каблуки крепки, как скулы. Их трое в обсервешэн-кар. Волосы одного заброшены назад, как у русского семинара, — и, как у русского семинара — мочалообразны; он одет в краги, в серый костюм туриста, — и костюм, и краги очень помяты; имя этому — мистер Смит. Мистер Грэй сидит лицом к окну, следит за бегущими шпалами, серый костюм его — когда-то был блестяще сшит, теперь помят, но все же хранит достоинство хорошего портного, — и достойно хранит твердокаменное тело мистера Грея, хороший экземпляр человеческих мышц, выкроенных вволю, чуть-чуть с излишком прошитую нервами. — Третий, маленький, в хаки, сидит за газетой, в очках, философического вида, нога на ногу, откинувшись к спинке кресла. Мистер Грей не может сидеть не прямо, — этому трудно не прислониться к спинке дивана или стула, — он философ-книгочей.

Мистер Смит стоит над мистером Грэмем.

Поезд блиндирован. Блиндированному поезду надо тяжело поскрипывать по шпалам, медленно покачиваться, в солидности стали. Но поезд экстренный, — и он стремится, что есть сил. Поезд идет, в сущности, по пустыне, — во

всяком случае — по колонии. В обсервешэн-кар сидят — колонизаторы: совершенно не необходимо, чтобы у колонизаторов были пробковые шлемы и по два маузера за кушаком брюк, — эти в мороз сопок выходят в русских бобровых шубах. — Там, за окнами обсервешэн-кар, — чрезвычайно убогое зрелище: пустыня, сопки, похожие на груди китайских женщин, торчащие сосками в небо, желтое небо, — эта дурацкая особенность, когда на солнце жарко, а в тени мороз, — и надо, поэтому, от времени до времени открывать двери кара, чтобы остудить воздух, накаленный в каре солнцем. Изредка в долинах видны крепостишки фанз, все редющие.

Поезд идет к перевалам Великого Хингана: — там, за перевалами, — Монголия, страна Тимура, никак не знаемая англичанами страна ханов, хошунов, ванов, гунов, бейле, баргутов, дауров, харацинов, — страшных степей и пустынь, — никем не знаемая страна древнейших богатств и цивилизаций, величайших победителей и законодателей, — ныне страна песка, выжженного солнцем, неразгаданной истории и неизвестностей.

— Вы философствуете, господин Смит, — говорит мистер Грэй, — моя же философия проста. Я могу думать только о том, что обработано человеческими руками. Этот мост, который мы проехали, для меня гораздо поэтичнее всех китайских фонариков и всех пейзажей Хингана, которые вы так хотите профотграфировать.

— Господин Грэй! — громко откликается мистер Смит, — но ведь фонарики также сделаны человеческими руками.

— И зря сделаны, поверьте, — возражает мистер Грэй. — Я все время чувствую неудобность от того, что все эти жители говорят на дурацком языке, никому непонятном, и имеют свои обычаи. Я хочу сказать, что для меня поэзией является все, что сделано руками европейца, и

мне понятно, как вот этот мост, который мы сейчас переехали. Поверьте, что простая философия нашего философа (— мистер Грей махнул рукой в сторону третьего, в хаки, сидящего за газетой), — эта философия очень правильна своей простотой. Мы приедем к монгольскому гуно, — так, кажется, зовется их князь? — у него есть свои обычаи, своя армия в триста всадников, свои монастыри, и — и свой банк, — так, собственно, банчишко, где деньги он печатает на типографском станке, украденном из России во время русской революции. Так вот, мы приедем, будем с гуном обедать в его дворце, я ему подарю часы, портсигар, английского скакуна... Его чин — Восседающий на шкуре тигра, — я ему подарю пару шкур бенгальского тигра... И я его позову на ответный обед к себе в вагон-ресторан, — и больше мы с ним никогда не увидимся. Да, он мне больше не нужен. Но наш философ поедет к нему еще раз, еще раз руками будет есть конину, — а потом ему и его графам и баронам так тихо предложит организовать, привести в порядок — понимаете? — привести в порядок их банчишко, — быть может, даже мы станем пайщиками. И все. Гуно, с его армиями, некуда будет податься. У нас будет база, вооруженная конниками гуна, потомка Тамерлана и русских татар, — и пусть сколько угодно кричат из Урги и из Москвы русские коммунары. Это — философия нашего философа, потому что он знает простую бухгалтерию и — как вы говорите у себя в парламентах? — теорию финансового капитала? Гун вместе со своими всадниками будет у меня в жилетном кармане. —

Третий, философ в хаки, вылезает из своего кресла очки он ссовывает на лоб, — и видно, как его хаки старательно измято креслами и стульями, на которых он пересидел за век своего хаки. Философ стоит, заложив руки в карман, молчит и идет в уборную.

Мистер Смит широко машет рукою, откидывая спичку, дымя трубкой.

— Ну-да, — говорит мистер Смит, — вы правы, господин Грэй, для вас тут есть поэзия борьбы, поэзия хитрости, организации. Если вы решили построить железную дорогу в Монголию, вы должны создать для нее почву. Но разве вас не будет опьянять морская буря, любовь к вашей жене или даже к маленькой японочке? Вы прибегнете к рукам степи этого князя, этого феодала, — и все. А я хочу увидеть, как столетья песков Монголии и монгольские табуны, в испуге, побегут от поезда, — я хочу научиться есть по-монгольски так, чтобы у меня не сжималось горло в рвотной судороге. И я хочу понять музыку китайских барабанов... Когда сегодня мы будем переваливать через Хинган, я прикажу остановить поезд на вершине, — и я пойду посмотреть окрест, — потому что это я, Ричард Смит, рядовой англичанин, стою на вершине Хинганского перевала... Ну-да, вы говорили, что для новой ветки придется рвать тоннель. Я приеду тогда на работы, чтобы смотреть, как человеческий труд врывается в недра земли. Завтра, или вообще, когда мы будем в степи, я поеду в монгольские монастыри, чтобы посмотреть лам, — и завтра же я проеду на наши каменноугольные шахты, чтобы посмотреть, как работают китайцы.

Мистер Грэй улыбается саркастически.

— Я видел, господин Смит, как вы сегодня утром на нашем маслобойном заводе зажимали нос, — я не ошибся? — говорит мистер Грэй.

Третий, философ в хаки, возвращается из уборной.

— Вам не кажется, джентльмэны, — говорит он — что вы разговариваете только для того, чтобы разговаривать, хотя у нас есть работы более существенные. Например, надо выпить сода-виски и после виски приступить к совершенно скучному подсчету тарифов с северных и юж-

ных веток и также обсудить, какую сумму мы жертвуем на подарки гуну и графам. Я философствую о том, что деньги любят счет, и больше ничего... Кто из вас позаботился о переводчике, при помощи которого мы будем говорить с монголами?

Мистер Грэй встал со своего места, расправляя квадратные свои ноги. У англичан плоская ступня, и рыжие его ботинки на толстой подошве задрали носки вверх.

За окнами на землю светит странное солнце, — у этого солнца, должно быть, небольшое и недоброе сердце. И поистине нищенская земля лежит за окнами, нищенски пустая, без единого кустика, засыпанная песком, покрытая иссохшими сопками. И только впереди возникает Великий Хинган, синие горы, отделяющие одну пустыню от другой. Там, меж сопками, и по эту сторону Хингана, и по ту, — живут люди, раскиданные на десятки километров друг от друга, — живут в пустыне, нищенстве, в жесточайшем труде. И солнце на желтом небе идет тем же путем, что и поезд, — на запад, — обгоняя поезд. Невесело, когда кажется, что все время один и тот же пейзаж бежит вместе со стальным скрежетом блиндированного поезда. — Мистер Грэй и третий, бухгалтер, сидят за столом, за счетами, за цифрами, — и у них в руках огромные рыжие паркеровские вечные перья. Перед ними разложены карты и планы. — Мистер Смит меланхолически вынимает из жилетного кармана малюсенький органчик, такой органчик, который может наигрывать всего-навсего „Типерери“ — мистер Смит заводит его, прикладывает к уху и меланхолически слушает, наслаждается музыкой; завод органчика разворачивается, — мистер Смит заводит его вновь. — Солнце обгоняет поезд, чтобы уйти за Хинган, в вечном своем пути.

Так идет день в обсервешэн-кар. Вагон-ресторан отделяет обсервешэн-кар от трех литерных вагонов. И там, в этих трех литерных вагонах, кроме людей, засели, — строгая солидность, медлительность, серьезность, портфели, арифмометры, плэды, карты, планы, чертежи: — здесь походная канцелярия начальников службы пути, начальников тяги, движения, прочее. Поезд идет с ревизией, дороги, — и курьеры высохшими листьями бамбука, в белых курточках, стоят у дверей, в ожидании распоряжений. На твердых стульях, за зелеными столами сидят начальники и солидность, в карандашах, арифмометрах, в синем сигарном дыму. Здесь готовятся отчеты, выполняются задания, сложнейшая ведется бухгалтерия и арифметика, — о тарифах, о пудо-верстах. Люди, творящие планы, солидность и табачный дым, — растворяющиеся в планах, солидности и бухгалтерии, — все одеты очень солидно в синие форменные сюртуки. Уже отдан приказ, — каждому начальнику после фэйф-клок-ти — надо итти на доклад по начальству, в обсервешэн-кар. Очень существенен факт, как одернуть сюртук и как ловкое слово сказать пред начальством, — и этим трем литерным вагонам совсем ни к чему — ни долотливое солнце, ни нищенство сопкок и китайцев среди сопкок: — этим вагонам надо немного, — надо солидность снести в обсервешэн-кар. Солидная скорость бегущего поезда, — это сделано ими, солидностью их бухгалтерий и расчетом пудо-версто-часов.

Между обсервешэн-кар и литерными вагонами — вагон-ресторан. Солнце обогнало поезд, спустилось к Хингану, солнце скоро уйдет за Хинган, чтобы оставить место невероятностям жестокостей луны, той, по понятиям европейцев, которою определяется ночная философия китайского народа. В семь в вагоне-ресторане будет обед, тогда в вагоне-ресторане соберутся все вместе, и из об-

сервешэн-кар, и из литерных вагонов. А пока в вагоне-ресторане полумрак. В полумраке бои раскладывают на столах тарелки, ложки, вилки, рюмки и бокалы, и розанами громоздят перед тарелками салфетки. В кухне поыхает плита, на цинковом столе разложены мяса вола, индюшек, рыбы. В кухне очень жарко. Китаец-повар в белом колпаке сгорает перед печью, — около него работает помощник. Здесь нету никакой философии и никакой солидности; люди рубят мясо, чтобы повкуснее приготовить мясо для людей, которые соберутся в солидности умений держать вилки и ножи. За окном поднимается луна. Старший повар смотрит в темноту, козырьком сложив над глазами руку в кусочках мяса, — и повар говорит:

— Проезжаем мимо Ху-Кэ-Шань, — здесь я бегал мальчишкой, здесь мне знакома каждая горка и каждая норюшка тарабагана, — но старший повар не успевает договорить, потому что речь его прерывает шипящее масло; повару надо следить за маслом, за мясом, за соусами.

— Ада-Бекир, — говорит старший повар тихо, совсем неслышно в шипении масла, — если монголы теперь оторвут от Китая Шин-Баргу, Хичун-Баргу, если вы оторвете Халха-Голен, Хан-Чандамани-улаин, Цзун-Уцзуму-чин, — земли Ху-Ке-Шаня пойдут за вами...

Младший повар отбивает обухом ножа мясо, чтобы оно было мягче, — он молчит, склонив голову. Старший повар знает разницу лиц Востока, и он хорошо знает, почему так крепко стянуты губы и глаза его помощника — монгола Ада-Бекира, героя для него, повара, и для остальных китайцев, и — безличного боя для англичан. Младший повар, как и старший повар, наряжен в белый колпак. Младший повар медленно смотрит в окно и говорит, отвечая, должно быть, своим мыслям:

— У вас, у китайцев, есть притча о том, как один человек стал строить себе фанзу. У него было очень

много друзей, и все друзья ему давали советы, как лучше построить дом, и он всех слушал и поступал так, как ему советовали, — и он не построил никакого дома. Так случается даже тогда, когда человек слушает только дружеские советы.

Тогда в кухню входит бой-лакей из обсервешэн-кар.

Он говорит:

— Ада-Бекир, у меня есть новости для тебя.

— Говори, — отвечает Ада-Бекир.

— Старший англичанин Грэй сказал мне, что я буду переводчиком при переговорах англичан с нашим гуном. Ты понимаешь, я должен буду остаться тогда в степи, иначе англичане меня погубят.

— Что же, очень хорошо, ты проводишь англичан к гуну и тогда скроешься. Англичане, все попрежнему, сидят над картами и планами? — сказал Ада-Бекир. — На перевале поезд остановится, потому что там англичане пойдут гулять. Там меня ждут. Там я брошу поезд и нашими тропинками спущусь в степь. За ночь, на коне я буду в степи уже за сотню верст и я успею в Дауру к тому времени, когда англичане приедут к гуну. Мы не отдадим Барги англичанам. Ты покинешь поезд, оставшись в Дауре.

Чин вечера идет у англичан, как положено ему итти от сотворения английского мира. За окнами не видны пространства. Не видно, что поезд пополз долинами, обрывами, мостами, выше, выше, к перевалам, к вечному снегу, к холоду, к просторам холода, заледеневшим от луны.

Но там, в просторе вершины перевала, по приказу англичан, поезд стал. Собственно, это был час, когда англичанам надо ложиться спать, — но тем не менее англичане выходят на снег, к подножкам вагона. Направо и налево от путей, в голубых под луною снегах исчезают

во мрак лесистые вершины гор, — но назад и вперед открываются широчайшие просторы мрака Китая и Монголии. Луна светит сор каградусным морозом, снег лежит твердейшей коркой, камнем под ногами. Мистер Смит идет вперед по снегу. Мистер Смит говорит громко:

— Все же, во мне еще сидит дикарь, все еще сидит древний сакс, который когда-то жег, грабил, насиловал, бил и побеждал кулаком. Там, впереди нас, лежит страна, страна жесточайших войн, жесточайшей крови. Мы идем победить эту страну. Я ничего не знаю про эту страну, — но почему сейчас нигде нет уже таких стран, где можно было бы палкой заставляя людей ходить на четвереньках, палкой заставляя женщин предаваться любви, палкой раздевать женщин?! — Я знаю, я первый не допущу этого, но иногда это бурлит в крови. Какой простор, какая луна, какие дали! Ведь мы стоим на вершине древнейших гор, по которым люди ползли уже тогда, когда Британии не было еще во чреве матери. Теперь здесь стою я, британец, — и мне хочется быть дикарем!

Мистер Смит говорит очень убедительно, — но мороз бессловесно колет еще убежденней. Англичане ежатся от мороза, поскрипывая каблуками в снегу. И вскоре англичане идут в вагон, гредоставив величие природы самому себе. Кондуктор бежит от одного вагона к другому, машет фонарем, и поезд медленно двигается, идет, уходит. На шпалах остается тишина ночи, блестит в снегу луна. И около шпал поднимается со снега человек. Человек осматривается кругом, — и тогда человек свистит в два пальца, пронзительно, по-степному. И слева, из темных ершей сосен, ему откликаются успокаивающим посвистом. Из темных сосен выезжают всадники. Они ведут в поводу свободных лошадей. На седле одной из них навьючена человеческая одежда. Тот, что остался от поезда, надевает на себя овчинные штаны, высокие, валяные сапоги,

меховой — козий — халат, остроконечную шапку, — и он — монгол — ничем не отличим от тех, что приехали встретить его. Густогривые, низкорослые лошади, промерзнув, непокойно помахивают гривами. — И люди мчат над обрывами, горными тропинками, ведомыми только им.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всадник стоит у железнодорожного переезда. Лошадь его мохната, низкоросла, большеголова, — лошадь испуганно смотрит на поезд, ставший перед станцией. На лошади сидит монгол, — он сидит на лошади, как сидят все монголы, сгорбившись, высоко подобрав ноги, некрасиво и в то же время так, что он кажется слитым с лошадью. И монгол безразлично смотрит на поезд, — так он может смотреть часами, не шевельнувшись, не мигнув. — Из поезда выходят люди, люди идут к автомобилям, стоящим перед станцией, — и монгол быстро-быстро мигает. Люди сели в автомобиль, — и тогда лошадь монгола стремительно, закидывая ноги за опущенную голову, мчит через пристанционный китайский поселок, мимо монгольского поселка — в степь.

В поезде, в обсервешэн-кар англичане очень внимательно просматривают свои браунинги и кладут их в карманы шуб. Англичане уже одеты в шубы и шапки. Шуба третьего запахнута, из-под нее торчит хаки, очки его сердиты, он говорит четвертому. Этот четвертый стоит у дверей с шапкой в руках, в форме железнодорожного чиновника, с лицом русского. Лицо русского расстроено и красно.

— Сто чертей! — говорит философ от бухгалтерии, — вы — инженер, мы доверили вам ответственнейший участок. А вы докладываете, что у вас сбежал агент и что у вас не осталось своего, доверенного, хорошего переводчика. Мы совершенно не знаем, как умеет говорить по-монгольски наш бой.

Инженер отвечает не громко:

— Здесь почти невозможно работать. Монголы срывают всю работу. Этого агента я готовил несколько месяцев, он был совершенно предан. Только вчера вечером я говорил с ним. Ночью он исчез. Я не понимаю, куда он делся, никто его не видел.

Инженера перебивает третий, философ от бухгалтерии:

— Но откуда монголы узнали, что приедем мы? Были какие-нибудь телеграммы? Этот знал о нашем приезде?

— Я уже показывал вам телеграммы. Как я докладывал, одна из них была Ада-Бекиру, молодому монголу, которого подозревают в революционных идеях и который был в Урге и в России, — но из этой телеграммы ничего нельзя понять.

— Хорошо, — говорит философ бухгалтерии, — идите распорядитесь машинами, мы выйдем через две минуты.

Когда начальник дистанции вышел из обсервешэн-кар, третий сказал раздумчиво:

— Какая-то ерунда, непонятно. Вы знаете, джентльмены, что ночью от нас с поезда сбежал поваренок, которого подозревают в том, что он был монголом. Но, все равно, мы едем. — Бой! — крикнул философ бухгалтерии, — оденьтесь потеплее, вы поедете с нами переводчиком к гуну.

Солнце долотит землю, на солнце жарко, а в тени — мороз, и тени лиловые, точно мороз лиловый. За переездом лежит беспредельность степи, бестенная, выжженная морозом и солнцем. В первом автомобиле садятся англичане, начальник дистанции и переводчик. На второй автомобиль садится китайская охрана. — Автомобили рывкают, поворачиваются, — непонятною монголам силою движутся к переезду, где только что стоял всадник. И в китайском, и в монгольском поселках детишки вместе с собаками, в крике и визге, летят врассыпную. Лошади в монголь-

ском поселке лезут на стены, волы и овцы бегут перед автомобилем, не сворачивая его рывкам. И только караван верблюдов за околицей покоен перед автомобилями — в медленном своем шаге перед долгими путинами пустыни, в медленном позвякивании колокольцев на змеиных верблюжьих шеях. Автомобили кроют землю стремительной солидностью.

В поселках были теснота переулков, — пестрота лаков и красок, шум гонгов и голосов, и теснота людская — в китайском поселке, — и — единая — просторная — краска выжженной солнцем тишины и пустыни — в поселке монгольском. Пылится пыль и несет запахи азиатского города, прокислые, протухлые запахи. — И за околицей сразу запахнулась степь — беспредельная широта степи, пустыни, казалось, не тронутой человеком, никем нехоженной, первобытной, широкий плат степи, чуть вскачнутый холмами, чуть смятый балками, — плат степи, прожженной, испепеленной солнцем так же, как лица монгол, — широкий беспредельно, пока хватает глаз.

— Если господа англичане пожелают, мы можем по дороге заехать в монгольский монастырь, где господа англичане увидят монгольских лам, — говорит бой-переводчик.

Англичане решают заехать туда на обратном пути.

Мистер Смит толкует:

— Вы знаете, — говорит он, — каждого первенца монголы отдают в монахи, в ламы. Ламы околачиваются около своих монастырей, ничего не делая, существуя за счет подаяний. Ламы считаются полусвятыми, и к ламам монгольская мораль посылает всех монгольских женщин, с которыми ламы священно совокупаются. Было бы совершенно неплохо побыть месяца три ламою. —

Вдали на холме в степи видна красная, крашенная колода, около которой стайей лежат собаки.

— Что это такое? — спрашивает мистер Смит.

Переводчик неохотно отвечает, говорит, что это монгольское кладбище.

— А, я читал об этом! — восклицает мистер Смит. — Монголы выкидывают трупы в степь, и собаки подъедают их. Эти собаки считаются священными псами. Поедемте посмотреть.

Автомобили идут к колодам, — собаки неохотно отбегают от автомобиля. Около колоды лежит человеческий труп, труп, почему-то без головы, труп раздет, труп изорван собаками. Мистер Смит усердно фотографирует и колоду, и труп. Мистер Смит просит мистера Грэя увековечить его, мистера Смита, около трупа — фотографией.

И опять стремительной солидностью мчат автомобили по степи. Холодно. Автомобили идут в Дауру, в столицу хошуна Шин-Барги, в Кувот-улан. Солнце долотит землю, широко раскидывает горизонты, но в автомобиле холодно, монгольское солнце — для англичан — имеет небольшое и злое сердце — надо потеснее закутаться в шубу, помолчать, — можно помолчать и подумать о тех тысячах километров, что полегли вперед, направо, налево, — о тех тысячелетиях, что прошли по этой пустыне монголами, аджиками, татарами, гуннами, золотыми и кровавыми эпохами, даже Александра Великого манившими в эти пустыни, которые когда-то были властительнейшими в мире и теперь уничтожены злым солнцем пустыни. Однажды — за путь автомобилей — вдали в степи возник всадник и исчезнул сейчас же в балке, и из балки тогда поднялся серый столб дыма; и далеко впереди тогда, чуть заметный, второй появился столб дыма: — кто знает, быть может, в этой бестелеграфной степи эти дымы были телеграфами тысячелетий?

И через часы автомобили приходят в мертвую тишину степного хошуна. Должно-быть, автомобили вступили

сюда так же, как вступает чума, потому что в глиняной тесноте переулков, серых, как степь, умерла жизнь, ни человека, ни лошади, ни звука, — только на порогах лавок сидят безмолвные, невидящие купцы, поджав под себя ноги и остановив время неподвижностью. Выбитая тысячами конских и воловьих копыт и тысячами человеческих ног, прошедших здесь, скованная морозом земля улиц гудит под автомобилями, но улицы и глиняные дома не видят автомобилией, не хотят их видеть.

Автомобили идут к крепости, где живет гун. Вал из серого камня тяжелой стеной окружает крепость. Рвы, полные водою, ныне заледеневшей, окапывают крепость. Автомобили под'езжают к мосту, перекинутому к воротам через ров. Китайская стража англичан берет винтовки на караул. Обитые железом ворота — безмолвны, глухо закрыты. Переводчик, вместе с начальником дистанции, выходит из автомобиля первым, они идут к воротам с полдюжиной английских визитных карточек. Англичане выходят из автомобиля.

И тут англичане видят — —

— — на столбе, на колу, направо от перил крепостного моста — на кол надета человеческая голова. Голова, должно-быть только сегодня или сегодня ночью отрублена, потому что кровь еще не потемнела, еще не запеклась; лицо ужасно, с разинутым ртом, — лицо замученного человека.

Крепостные ворота уже открыты перед англичанами. — Лица англичан растеряны, мистер Смит стоит с открытым ртом, забыв о фотографическом аппарате.

— Господин Грэй, господин Грэй, — шепчет растерянно начальник дистанции, — я должен вам сказать — —

— Идемте, господа, — покойнее, чем следует, говорит мистер Грэй. — Вы потом мне доложите, господин начальник! — —

Впереди мистера Грэй идет — третий, философ бухгалтерии. Англичане идут мостом, под воротами, первым внутренним двором, вторым. — „Господин Грэй,“ — шепчет начальник дистанции. — „Вы потом мне доложите, господин начальник!“ — кричит шопотом мистер Грэй. Англичане проходят второй двор, третьи ворота. Англичанам трудно видеть то, что вокруг них. Неслучайно — в машинальности — руки англичан в карманах, там, где револьверы. И — неслучайно в этот миг лица англичан похожи на те маски, в которых разыгрывались когда-то мистерии, зажатые в наморднике английской выдержки. Англичане идут, окруженные толпою монголов: кислый запах — национальный запах — монголов уже об'ял англичан. Англичане идут в масках. За третьими воротами стоит дом покоев гуна, где разостланы шкуры леопарда, на которых восседает гун. Англичане ничего не видят после глаз того, посаженного на кол: они не видят, что дом, где „восседает“ гун, — такой, каких очень много в России, дом средней руки купца, под железною крышою, 12 на 24, с крылечком, где в галдарейку вставлены цветные стекла; они не видят, что небольшой дворик чистенько выметен, посыпан песочком, — что есть у дома заваленка, приспособленная для сиденья на ней. — Ступеньки крылечка покрыты коврами. На вышитом золотом ковре стоит гун, в шапочке мандарина, с усами, свисшими тоненькими седыми шнурочками, в голубом — небесного цвета — юбкоподобном халате. Округ гуна стоит толпа его придворных, его военначальников, советников, министров, баронов, графов, бейле, бейсе. Мистер Грэй хочет увидеть лицо гуна: оно сухо и выжжено, как камни пустыни, — и безвыразительно так же, как камень. Гун — безвыразительно — не глядя на гостей, — не-то от старости, не-то по чину — кланяется песками своего лица, одними глазами, которые смотрят долу и медленно закрываются. Англи-

чане кланяются гуну в пояс. Толпа придворных отвечает англичанам поясным поклоном. Гун протягивает руку мистеру Грэю (— „как узнал гун, что он, мистер Грэй, старейший среди англичан?!“ —), — гун протягивает руку, чтобы мистер Грэй в благоговении ее пожал, — рука гуна бессильна. Англичанам трудно видеть, и они не видят, что рядом с гуном, в свите гуна стоит тот человек, что был вчера у англичан в поезде помощником повара; он наряжен сейчас в лиловый кафтан, и за поясом у него косая сабля; он выступает вперед, кланяется и говорит переводчику англичан, тому, кто был вчера у англичан лакеем:

— Передай собакам англичанам, — говорит сладостнейший монгол, вдвое складываясь в поклоне, — передай собакам, что повелитель Шин-Барги, восседающий на шкуре леопарда, просит англичан пожаловать в его покои на самовар.

Англичане не понимают, что говорит драгоман. Начальник дистанции смотрит на мистера Грэя умоляюще, — и вслед за ним, в толпе, идет в дом, в горницу, где на канах разостланы шкуры леопардов — —

... Можно было бы пойти по крепости, посмотреть замороженные века прошлого. Англичане не могут смотреть — перед ними глаза того, на колу. А можно думать о тех — или остатках, или зачатках государственности, феодальщины, которые, как в молекуле, отражают все и всяческие качества всех и всяческих государственных; англичане прошли мимо первых ворот и заметили там только колья с человеческими головами, которые рубятся и вешаются судом и приказом гуна; гун живет за крепостными стенами, — не существенно, что эти стены развалятся от первого удара полевой пушки, гун живет за охраной своей армии, — на конном дворе стоят скакуны гуна, — там его псарня и там холятся его соколы, те,

с которыми он выезжает на соколиную потеху; во внутреннем дворе гуна есть подземелья тюрем, в подземелье есть закута, где пытаются людей судом и приказом гуна, — и там, — случайно рядом с подземельем тюрьмы — стоит печатный станок, украденный из России в дни русской революции, станок, на котором печатаются деньги и приказы гуна; на третьем дворе — покои гуна, гарем, жены, дети; и на первом дворе, и на втором дворе, и в стенах крепости расположены казармы всадников гуна; за первыми воротами на первом дворе, где налево казармы, направо расположились в доме, похожем на рабочие казармы и обмазанном глиною, — расположились правительственные учреждения гуна, его судебные, податные, финансовые приказы, и там хранятся толстые фолианты, написанные по-китайски кисточкой — фолианты, в коих писаны и история Шин-Барги, и гуна, и предания, и грамоты войны и мира с соседними племенами, и перечни данников, и перечни родов и знати, и перечни подданных, и что с кого, с какого улаину причитается гуну на суд, на войско, на правление, причитается деньгами, лошадьми, волами, трудовой повинностью... — здесь можно увидеть молекулу всяческих государственных! — но англичанам невозможно думать, в наморднике из нерв — —

В приемной гуна, где лежит множество шкур леопардов, топится голландская печь, очень обрусевшая за годы своих скитаний по России от Голландии до Монголии, — в потрескавшихся кафелях, очень уютных, раскрашенных зелеными овечками и пастухами, в изреченьях на немецком языке. По стенам в горенке висит с дюжину стенных часов, из коих иные молчат, а иные тикают всеми головами и басами. По стенам развешаны изречения великих людей Монголии и Китая. Гун восседает на леопарде. Англичане в толпе вельмож гуна стоят перед гуном. Слуги вносят стулья и круглый, почерневший от времени стол.

Мистер Грэй говорит через переводчика длинную речь, заготовленную еще задолго. Мистер Грэй говорит тихо. Вот начало этой речи:

— Великий гун, великий, восседающий на шкуре леопарда! Мы, правление новой дороги, приехали поклониться тебе и твоим вельможам, приехали привезти тебе подарки и дружески договориться с тобой о том, чтобы в дальнейшем мы жили в дружбе и мире под твоим руководством и по твоим советам. Дело в том, что наша дорога упирается в твои владения, проходит по твоей земле, и мы — —

Лицо гуна — как выжженный солнцем камень. Гун сидит с опущенными глазами, глаза гуна прикрыты желтыми веками, невидны. Гун неподвижен, непроницаем. — Слуги на круглом столе расставляют круглые китайские чашечки и мисочки, раскладывают китайские палочки, которыми едят, — против тех мест, где сядут англичане, кладут вилки, никогда не мытые и не чищенные. — Когда переводчик заканчивает перевод речи мистера Грэя, гун встает с леопарда, гун идет к иероглифам изречения, написанного на стене, долго смотрит безликими глазами на это изречение и говорит:

— Этот манускрипт мне подарил китайский император Пу-И, ныне живущий уже без престола, отрекшийся от престола, когда ему было три года. Император Пу-И написал мне: — „я слышал, как поют птицы, — голоса птиц везде одинаковы: — почему же люди говорят разными голосами и разными словами?“ —

Гун идет занять свое место у круглого стола. Одна единственная стоит на столе бутылка коньяка, не настоящего, подделка из Фудидяна. Гости и гун садятся за стол по-европейски, на стулья и на табуреты. И на стол несут бесконечный черед китайских кушаний — трепанги, гнилые яйца, прогнившие до того, что они стали зелены-

ми и прозрачными, свиные выкидыши в бобовом масле, — и еще десятки таких же, несъедобных для европейца, блюд. Англичанин через переводчика сообщает гуна, что, кроме шкур леопарда, он делает ему подарок английским скакуном, белой масти, — гун, в знак того, что он слышит, медленно мигает глазами, — руки у гуна медленны, сухи, узки, и пальцы — в той красоте, которая у европейцев считается аристократической — необыкновенно длинны.

Но китайские кушанья — только начало обеда. Англичане теряются в тех чашечках и мисочках, что стоят перед ними, — и из каждой мисочки трепангами, лягушками, бобовым маслом — глядят на англичан глаза отрубленной головы. — Слуги приносят самовар, прародитель русского — медный, позеленевший, он шипит и кипит, — совком в него кладут угли. И на деревянных лотках слуги приносят тончайше нарезанные ломти конины, говядины, куски мяса гусей, кур, дроф, дикого кабана, дикой серны. И гун собственноручно кладет мясо в кипяток самовара. Гун сыпет туда соль. Гун сыпет туда перец, имбирь, лук, чеснок. Гун льет туда бобовое масло. Все это кипит в самоваре. И тогда гун кладет мясо из самовара на стол перед каждым гостем, собственноручно, чтобы гости ели мясо — уже по-монгольски — руками. Глаза гуна немигающи. Часы на стенах бьют вразнобой, басами, кукушкою, пищат, хрипят. Гун говорит через переводчика, что он дарит мистеру Грэйю лучшего своего белого скакуна. Мистер Грэй просит гуна пожаловать к нему в поезд завтра на обед. Гун медленно мигает в знак того, что он слышит. Мистер Грэй — через намордники, издалика — через переводчика интересуется банком гуна и его валютой и предлагает вступить пайщиком в банк гуна. Гун — не мигает — в знак того, что не слышит.

Тогда мистер Грэй под столом получает записку от начальника дистанции. Начальник пишет карандашом: —

„Ваше превосходительство, господин Стивен Грей, — я нахожу необходимым потревожить вас. Та голова, посаженная на кол — моего агента, который исчез сегодня ночью“. — Мистер Грэй окидывает взглядом своих спутников, — они бледны, они давятся кониной. И первым движением мистера Грэя было встать, побежать. Но — он сидит в наморднике. Он уже ничего не видит. Он покорно берет конину руками. Потом он пьет монгольский чай, который варится с солью, с пшеном и с бараньим салом. Он покорно рассматривает старинное оружие гуна, сабли, копья, луки, — рассматривает лук и стрелы, оставшиеся, по преданью, от Тимура, одним из потомков которого считает себя гун. Гун сидит неподвижно, немигающие его глаза смотрят пустыней. Гун ничего не ест, — но вельможи гуна ловко цапают руками горячее мясо и ловко его засовывают в рот, сгибаясь над столами, порыгивая, облизывая пальцы. Англичане едят поспешно, не глядя, что едят. Англичане уже ничего не говорят. Гун заводит граммофон с китайскими пластинками, которые на ухо европейца кажутся вырождением музыки. Часы кукуют, бьют.

Тогда на подносах из меди слуги разносят англичанам визитные карточки гуна и его графов и баронов: визитные карточки монголов вчетверо больше нормальных, они исписаны иероглифами. Тогда — чин обеда закончен, и англичане могут идти.

Англичане идут к выходу поспешно, табунком, опустив головы, поспешно простившись. Гун и его свита провожают англичан до ворот. Англичане не видят, как их охрана берет на караул. — Англичане садятся в автомобили. Когда пустая улица поселка осталась позади и кругом широким пологом распахнулась степь, мистер Грэй останавливает автомобиль, выходит из него. Мистер Грэй всовывает два пальца в рот и тошнится, — затем из тер-

моса он пьет касторку, разведенную черным кофе, — лицо мистера Грэя бледно, глаза залиты слезами, — лицо его постарело лет на тридцать, указало, что он уже очень не молод. Тогда остальные англичане также слезают, чтобы тошниться. Переводчик-бой спокойно стоит у крыла автомобиля — он говорит покойно:

— Господа англичане желали на обратном пути заехать в монгольский монастырь посмотреть лам. Господа англичане прикажут свернуть туда? —

Мистер Грэй бессильно машет рукой, слабо смотрит, — „нет, нет, довольно, я уже видел. Я хочу домой, в вагон. Пожалуйста скорее“.

И автомобиль рвет пространство стремительной быстротой, без всякой солидности. Мороз перед закатом долотится уже не солнцем, а черствым холодом — англичане сидят съезжившись, засунув носы в воротники, засунув руки глубже в карманы...

...В голой степи, за невысокими рвами расположились храмы монгольского монастыря. Горбун-лама, изъеденный оспой и сифилисом, стынет у ворот. В первом храме направо и налево от алтаря сидит по паре чрезвычайно страшных, нечеловекоподобных и все же человекообразных, вырубленных из дерева в два человеческих роста — богов; у богов торчат наружу языки и клыки; глаза их выкатились в свирепости из орбит и раскрашены кровью; брови их ужасны; на лбах у них рога; в руках у них огромные мечи и дубины; под ногами у них, в корчах страданий, человеческие фигурки — — это чортоподобные боги охраняют алтарь от злых духов и злых людей, отгоняя, устрашая их страхом ужасных своих рож. — Горбун-лама стынет у ворот; затем он идет в храм и бьет там в гонг, чтобы боги услышали его молитву и то, что он стережет усердно...

...Автомобили англичан стремятся к поезду...

.....

Вечером англичане сидят в обсервешэн-кар — устало, в пижамах после ванной. В обсервешэн-кар очень натоплено, чтобы англичане могли отогреться после морозов дня. Вокруг обсервешэн-кар стоит усиленный наряд китайской охраны. — Англичане молчат.

— Ну, что, как ваши проекты? — говорит устало мистер Грэй третьему, философу бухгалтерии, — наш бой-переводчик тоже сбежал? его тоже посадят на кол, как вы думаете? — или он просто агент монголов? — ведь начальник дистанции говорил, что переводчики не называли нас иначе, как собаками-англичанами, — начальник дистанции, к несчастью, знает несколько слов по-монгольски! — Как ваши проекты? —

Третий, философ бухгалтерии, отвечает злобно. Лицо третьего теперь никак не сонно, выправилось, не стало походить на его хаки, и очки сидят твердо.

— Что же, — говорит он, — у нас есть и иные средства, должно быть, более портативные для дикарей. Посмотрим, что покажет завтрашний обед у нас, — я поговорю здесь с монголом чистосердечно, без шуток с отрубленными головами. А что касается того, что мы собаки...

— Тем не менее, — перебивает философа от бухгалтерии мистер Грэй, — собаки пока съели в степи нашего агента, который, кажется, был достаточно куплен нами.

— ...А что касается того, что мы собаки, — говорит философ от бухгалтерии, — то нам из их морали шуб не шить. — Населения здесь столько-то, — посмотрите цифру в моей записке, скота столько-то, — площадь земли. — Расчет ясен. Если мы бросим сюда десять тысяч фунтов стерлингов — —

...но тут происходит невнятное, такое, что поняли англичане только тогда, когда поезд стремительно, забыв о сигналах и стрелках, мчал за Хинган, — в ненужной, конечно, и в истерической поспешности — —

За вагоном тогда зашумела толпа. Дежурный пришел в обсервешэн-кар и доложил, что монголы привели коня, подаренного гуном мистеру Грэю, и хотят его передать лично мистеру Грэю. Мистер Грэй вышел на площадку, спустился на перрон. На перроне толпились всадники: лошади, в золотом и серебром расшитых чепраках, храпели перед поездом. Старик, вельможа гуна, сидел на лошади, точно родился вместе с лошадыю. Лицо старика было таким же, как лицо гуна, — как выгоревшие камни пустыни. И дикий степной конь его, — им надо было любоваться, — был, должно быть, одним из лучших коней, живущих ныне на земном шаре. Старик слез с коня, — и слуга повел коня к мистеру Грэю, слуга поклонился мистеру Грэю и передал ему повод лошади, склонившись в пояс перед мистером Грэм. Мистер Грэй заговорил по-английски о том, что он благодарит гуна, но мистер Грэй не договорил, потому что рядом грянул выстрел. Пуля, должно быть, прошла прямо в мозг лошади, повод от которой были в руках мистера Грэя, — потому что лошадь не успела даже стать на дыбы, сразу пала на землю, окруженная всадниками, взлетевшими вверх на дыбах своих коней.

Больше выстрелов не было, через момент не стало на перроне людей, ни монголов, ни китайской охраны, и лежала только мертвая, — прекрасная белая лошадь. Мистер Грэй слабо отдал приказ готовить поезд к отходу. Лошадь лежала на перроне. На перроне не было ни души. И тогда из-за станционной избы выбежал в нечеловеческой стремительности человек, — он бежал в обсервешэн-кар, он споткнулся о белую лошадь, вскочил и прыгнул в обсервешэн-кар. В обсервешэн-кар вбежал начальник дистанции. Начальник дистанции, инженер, вылезшими из орбит глазами осмотрел англичан и прошептал: — „скорее, скорее, — я вырвался из рук монгол, выбросился

из окна, — там остались мои дети, и жена, — скорее, скорее, идемте, — помогите! “ — в этот миг поезд тронулся, скрежетнул стальными блиндажей. Одинокая какая-то пуля в этот миг ударилась в окно обсервешэн-кар, разбила стекло, пропела. Англичане повалились на пол, прижались к ковру. Третий, философ от бухгалтерии, крикнул визгливо:

— Полный, полный ход! вперед, все пары, эй, кто там, скорее!

Над англичанами стоял начальник дистанции, человек с лицом якута, — человек шептал:

— Скорее, скорее, — там остались женщина и дети, идемте!

— Полный, все пары вперед! — завизжал, завыл в свирепой злости, рожденной трусостью, философ бухгалтерии, — и замолк, прижавшись к ковру, спрятав голову.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

...Степь в ночи — черна, беспредельна, луна над степью идет мертвецом, там в высотах та луна, которая, на глаз европейца, предугадывается философией бытия Азии. Европейцу степь — пустыня, — монголу степь — родина. Тогда, той ночью, когда монгол Ада-Бекир оставил на Хингане поезд, всю ночь мчал на коне Ада-Бекир.

За горами была степь стремительных гонок, — были широкий простор степи, ушедшей во мрак, льдышка луны в небесах, сигналы звезд, — были — храп коня, запах пота коня, ветер стремления, повода в руках — видна была опущенная голова коня, прижатые уши коня, грива коня, летящая по ветру, — а в человеке на коне были: — огромное сердце и ветер. — И сердце, и мысли, сквозь мрак ночи, сквозь тысячи километров степи — видели — и дни Тамерлана, дни свобод и величия Монголии, и дни беспредельного будущего, и дни крови, и дни горечи, и дни

радости, — видели степь, полыхающую кострами восстания, слышали топот всадников во мраке, скрип повозок, — и чуяли, чуяли кровь братства, смерти за братство, за верность, за долг, за свободу, чуяли радость и мужество братства, связанные свободой и кровью.

Кони мчали до хрипоты: тогда всадники меняли коней и мчали дальше, не изменяя своей воле, в огромном сердце, где виделись стоны, вопли, плачи и крики — крики радостей, побед, крики скрипов обозов, и конского топота, и гика толпы... В тот час, когда над степью едва-едва стало светлеть небо и рассыпались звезды, когда в степи стало еще темнее, как всегда за час до рассвета, — всадники примчали в степной умет. Там в балке стояло несколько глиняных изб, где жили оседлые монголы, — а вокруг изб расставились юрты — прикочевавших сюда из степи. В этом умете никто не спал этой ночью, но огней в умете не было. Собаки задолго до того, как стали слышны шумы умета, воем своим рассказали о нем. Всадники встретили путников, далеко выехав навстречу в степь. И топот коней заглушил тогда сердце и мысли — подлинным топотом восстания, подлинным гиком восставших. Люди собрались в глиняной избе. В избе было очень тесно, люди сидели на канах, стояли на полу, стояли у дверей наруже. В избе было очень молчаливо и тихо, как и должно быть, когда говорить, в сущности, не о чем.

И разговоры — коротки.

— Теперь или — никогда — —

— Сейчас же все на коней, и в степь, по улаинам, хошунам, аулам, уметам, — вся степь на коней — —

...В глиняной степной избе, — тихо, не многоречиво, молчаливо.

Солнце еще не встает над степью, еще лиловая ночь. Безмолвствует крепость гуна. У ворот крепости спят

часовые. Тогда к воротам подъезжают всадники. У ворот стонут люди, — „ты — монгол, и ты — предатель?“ — и на колу у ворот возникает человеческая голова — на колу. — „Труп — собакам, на дорогу, где поедут англичане, — пусть смотрят англичане“. — И еще подъезжают всадники. Ворота крепости уже отперты. Всадники едут в крепость. Гун ожидает в своих покоях, там, где разостланы шкуры леопарда. Гун совсем не похож на выжженные солнцем камни пустыни. Гун стоит прямо и смотрит орлино — на этих, вошедших, восставших.

— Садитесь, — говорит гун, — и садится сам, совсем не на леопарды шкуры, а по-просту на землю пола, подобрав под себя ноги. Люди садятся вокруг него, так же на полу, так же подобрав под себя ноги, опустив руки.

— Закурим, — говорит гун, — и закуривает длинную тонкую трубку, старенькую, выложенную серебром, не спеша. Люди также закуривают. Слуга приносит и ставит посреди круга, образованного людьми, глиняный чан с горящими углями.

— А англичане? — спрашивает гун.

— Ты — старый, гун, — ты умный и хитрый. Было время, когда ты с китайцами правил против нас. Ты знаешь, — на колу около твоей крепости уже сидят головы предателей, — это мы говорим тебе.

— Хорошо, — говорит гун. — Но у англичан есть пушки.

— Да, — отвечают гуну. — Но у нас есть право и степь. У нас есть священный обычай гостеприимства. Ты встретишь англичан и примешь их. А они поймут, что значит человеческая голова на колу. Наш выбор не велик. Ты сказал об англичанах в Китае.

— Хорошо — говорит гун. — Ты Ада-Бекир, — ты поднял восстание? Ты приехал с англичанами, — ты и при-

мешь англичан, — ты и проводишь их. А сейчас я хочу спать. И вы ложитесь спать.

.
...Конь храпит под всадником. Ночь. Скоро будет рассвет. Всадник сросся с конем. В ночи и во мраке, в степи—через мрак и степь—всадник видит шумы восстания, скрип повозок, крики и топоты всадников... Над степью в огромных далях горят костры вех, дымят вехи, отдаленные слышатся вои собак... и—безмолвная тишина в степи, извечная. Конь храпит под всадником.

Огромное солнце поднимается над степью. Все члены всадника онемели от непрерывной скачки, храпит конь. Солнце поднимается красное, круглое, громадное, — и всаднику понятно, что для него, для монгола, — у этого монгольского солнца—большое и доброе сердце.

— — в этот час в китайском городе на бобовом заводе — бамбуковыми палками надсмотрщики будят на работу — китайцев, спавших на бобовых матах... В храме, кинув копейку в ящик чортообразному богу, моельщики дубасят в гонг, чтобы чортоподобный бог услышал их молитву. Над муравейником улицы еще не возникли шумы дня и из переулков течет удушливый запах опиума.

Т о к и о,
Тансумачи
май 1926.

РАССКАЗ О КЛЮЧАХ И ГЛИНЕ



„Здесь из-под земли выби-
вался студеный ключ“.
Вс. И в а н о в.

...Это арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то:
так осторожней касайся глины своими теперешними
руками.

В Палестине, в Сирии, на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожие на птиц. На корме кайка, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер, — но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу; кайк громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; — и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой; другую ногу они сгибают в колене, шаровары их раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла, — той ногой, которая

была в воздухе, они опираются о борт шаланды, отталкиваются ею и вновь взлетают на воздух, над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они — нет, не поют, а всклекотывают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:

Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!

Боже мой, путь еще не кончен: — путь еще далек—

это всклекотывают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, — это всклекотывают они потому, что по истине „путь еще не кончен“: — потому — что они же поют — в пустыне, в ночи, под пальмами и звездами, отдыхая около своих белых маза-нок, или около верблюда, или около оаза — поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет — —

I

В порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза социалистических республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы идти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно, — из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось, — и, умытое, готово было блеснуть, если бы было солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюм сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта. Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отрепьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками, — кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было

пятьсот человек, — это были евреи, едущие в Палестину едущие на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шляпками, около труб (пароход был двутрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей так, как валяются вещи, вытасканные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскладывались постели, и там сидели женщины и дети. Старики выискивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик, взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, прочитать древними словами, — и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древне-еврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и пароходные трюмы: пароходные трюмы и гетто пахнут одинаково, быть может, потому, что гетто всегда были лишь переулком для этого идущего народа.

Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага, — откровенная грязь ползла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерок несся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна — не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках чуялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.

Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже отсвистел второй гудок. Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил кофе и

отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены, — что молодежь — сионисты из Тарбута собрались на баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе, — сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном. — Пароход загудел черным страшным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем — воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам острокадычных шей и голов. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился, посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал, — и тогда в вое возник ритм песнопения; эта песнь была гортанна, однотонна, обречена, вся облитая кровью и горечью, — это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:

— Моолчать, на баке! — проревел капитан. — Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! — Моолчать!!

На баке на несколько минут произошла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то выругал. И пошел гвалт.

— Вы нахал, мерзавец, скотина!

— Моол-чать! В канатный ящик!!

— Гражданин капитан, — меня ударили по шее!

Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:

— Молчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.

— Есть! — ответил штурман, и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась.

— Слушать команду! — крикнул покойнее капитан. — Сионисты! — когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня... Моолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!

Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило. Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчисления, — крестоносцами, в дни, когда Готфрид Бульонский врывался в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство, — и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти человечества остался этот народ, всюду гонимый, — остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником, — и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Йорк прежде, чем стать Нью-Йорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться, — точно так же, как в Йорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла есть еврейский пот и еврейская взятка — опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями, — и вся их

история окрашена тем, что евреи — еврейство — не потеряли своего облика и через века пронесли свою мечту, свою тоску, извечную свою печаль — печаль и тоску вечного народа, — пусть гонимого, но все же сшивавшего и сшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смирнский еврей Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии, и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем — умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа. И вот теперь на пароходе под флагом Союза советских республик ехало пятьсот человек евреев к своему национальному очагу. Пароход уходил в синь Средиземных морей — —

Ветер дул уже холодом. Сзади горел, умирая и возрождаясь, маяк, и исчезали огни порта. На корме, над винтом, прислонившись к фальшборту, стоял старый еврей, в кафтане, в ермолке с клинообразной бородой по пояс — старый еврей, который ехал к Стене Плача, чтобы выплакать там все свои слезы и чтобы без слез уже, счастливым, умереть на обетованной земле, в долине Иосафата. Он смотрел назад, на ту землю, где родился он, где родились его деда, прожившие здесь в гонении столетья, — и он, старик, плакал, прощаясь. Он должен был это сделать — и он проклял эту землю рассеяния: но не плакать — возможности не было, слезами горя. Ту же землю, что лежит впереди за морями, — он поцелует, он поцелует своими старческими губами, старую свою грудью припадет к земле, прижмется к ней, — и эти старческие поцелуи будут самыми страстными — самыми страстными поцелуями из всех, какими когда-либо

он целовал, — и ту землю он обольет слезами горя. Маяк уже скрылся, умер во мраке. Черная стояла кругом ночь, обдувал ветер холодом. Старик по загруженным палубам пробрался к себе, к своим вещам. Здесь были растянуты тенты. Люди уже спали, уставшие от дня. Светила здесь несильная электрическая лампочка. На корзине лежала — спала — женщина, и ее голова повисла в воздухе. За ящиками на перине спало целое семейство. Капитан, старый уже, добрый, в сущности, и усталый человек, сошел в штурманскую рубку, склонился над картой и попросил принести ему стакан чаю. Все лишние огни на пароходе потухли.

... Пароход шел от туманных берегов Скифии к солнцу Мраморного, Егейского, Средиземного морей, к сини моря, неба и гор, — туда, где в Греческом архипелаге — до сих пор еще возникают новые острова и дымят вулканы, — туда, где возникали и гибли великие культуры, египетская, ассирийская, греческая, арабская, — туда, где тысячи и тысячи прошло народов, нарождаясь, побеждая, умирая, в этой стране солнца, камня и моря, создавая религии, искусства, культуры, цивилизации и — умирая там, где каждый камень — памятник...

У электрической лампочки висела клетка с канарейкой, и канарейка не спала. На полу в проходе спал старик, подложив под голову рюкзак. На скамье спали обнявшись, чтобы не упасть, две девушки, под скамью помещился и покуривал перед сном юноша. Все остальное место было завалено вещами. Старик сел на свой матрас около своей жены и последнего своего ребенка, поехавшего с ними, — раскрыл книгу и — бесшумно, одними губами — стал читать молитвы. Еще десяток таких же стариков сидели так же с такими же книгами. Старик увлекся чтением, — где-то, на конце фразы, смысл которой был особенно ударен, где говорилось о строгости жестокого

Иеговы, старик поднял горё голову и пропел эту фразу. Сейчас же ему откликнулись другие старики. И вскоре на палубе возникло странное, чуждое русскому уху, молитвенное пение, напряженное, страстное, как страстна может быть черная кровь — —

... А на баке около форштевня в этот час стоял юноша, в кожаной куртке, в галифе и новеньких галошах. Лицо у него было — если бы осветить его в этот момент фонарем — было торжественно, строго и решительно, но это же лицо указывало, что юноша был слаб здоровьем, быть может, страдал уже чахоткой. Глаза его были прикрыты пенснэ, шнурок от пенснэ лежал за ухом. Юноша стоял прямо, откинув голову назад, смотрел вперед, подставлял грудь под ветер. Уже качала волна, и за бортами сопело море, и бак медленно поднимался, чтобы опуститься с шипом в волны. Этот юноша, прощаясь с девушкой, оставшейся на берегу, крикнул ей: — „в будущем году — в Иерусалиме!“ — и он страстно пел свой сионистский гимн. Там впереди за морями была обетованная земля. Старики ехали к Стене Плача — он ехал в Тэл-Авив, гехолузец, — он ехал мостить дороги, садить сады, растить виноград и рициновое дерево, копать колодцы, сушить Тивериадское озеро и его лихорадки. Он, демократ, сионист, социалист, ехал строить свое государство, потому что не хотел быть непрошенным гостем в странах рассеяния, хотел себя освободить от чужих народов и их — этих чужих — оставить свободными от себя. Он руками, грудью, плечами — киркой и лопатой — должен был построить свой дом, свой мир, — он, сын народа, всегда гонимого и никогда не теряющегося, великого народа. В ночи и ветре, — через ночь и ветер, — перед глазами его вставали подступы к Сиону, в пыли и зное дули аравийские ветры, и там вдали в красных песках стоял город с высокими, зубчатыми стенами, разбросан-

ный на каменистом плоскогории. В этот город идут караваны верблюдов, — но это он, это его братья пророют там дороги вплоть до Индии и всю каменистую пустыню, где сейчас изредка торчат пальмы да джигитуют бедуины, превратят в апельсиновый сад. Там, в Палестине, после двух тысяч лет вновь возник древний язык, — и кто знает, быть может, среди камней, около рва, обсаженного кактусами, там, где потечет вода, возрождающая пустыню, он скажет далекой девушке, как говорил уже однажды у себя в местечке в Витебской губернии, — скажет девушке о прекрасной любви... Их, из этого местечка, сейчас ехало семеро, четверо юношей и три девушки, все они были и гехолуццы, и из Тарбута. Это они протащили через таможду и полит-контроль сионистский флаг и пели свой гимн перед уходом в море. Когда кричал капитан, они совещались, — петь или не петь дальше? — и это он отговаривал петь, полагая, что пение мешает капитану командовать судном, — утешая тем, что, когда они выйдут в море, они попоют.

И юноша, как старик, пошел спать. Все семеро они устроились вместе, под вельботом. Товарищи его уже спали, свалившись кучей на мешки. Он снял сапоги вместе с галошами, подсунул их поглубже под вельбот, всунул в сапоги чулки, — и втиснулся в товарищей, скромно поправив сбившиеся на девушке юбки. Эта девушка не проснулась, но проснулись — другая девушка и юноша. Тот, что разбудил их, тихо сказал, с трудом, на древнем языке: — „В Палестине англичане ведут такую политику, что разделяют арабов и евреев. Нам необходимо коллективно обсудить, как достигнуть дружбы арабов. Впоследствии нам совместно придется воевать с англичанами — —“

Ночь была глубока. Все спали на пароходе. Пароход затих, и слышно было как шумят волны и ветер. Капитан с вечера заснул в штурманской рубке, — проснулся

в этот глухой час, слушал, как отбили склянку, вышел на мостик. Небо очистилось, светили звезды. Шли на траверзе Дуная. Капитан справился о курсе, покурил. У компаса стоял человек в плаще, разговаривал со штурманом.

— Не спите? — спросил капитан.

— Да, не спится. Хожу, смотрю.

— Вы, извините, по делу едете? — спросил капитан.

— Нет, еду посмотреть. Вернусь вместе с вами обратно. Ведь мы будем проходить — поистине по человеческой истории. Интересно посмотреть, что осталось от человеческой колыбели.

Капитан сделал презрительнейшее лицо, поджал губы, словно съел кислое, и сказал:

— Ничего не осталось от всего этого, самое безобразие. Я ходил в Америку и на Дальний Восток. Хуже Ближнего Востока ничего нет, одно надувательство и безобразие, извините, — что турки, что греки, что левантийцы, что арабы. Турки с арабами еще ничего, — одни честные, а другие работать могут. — Капитан помолчал, спросил: — Извините, я имя ваше позабыл.

— Александр Александрович Александров.

— Извините, Александр Александрович, а я думал, что вы еврей, — сказал капитан.

— Да я и есть еврей.

— Вы — партийный?

— Да, я коммунист, только я еду под чужой фамилией и с чужим пассом.

— Я тоже партийный, — ответил капитан. — Не хотите ли стакан пуншу? Идемте в рубку.

Ночь была черна, все огни потухли на пароходе. В рубке капитан, стоя, локтями облокотился на карты и, с карандашом в руках, говорил о Константинополе, о Смирне, об Афинах, о Бейруте, о Яффе... Против капи-

тана сидел немолодой человек, тщательно одетый в прекрасно-сшитый серый костюм, тщательно выбритый, сухолицый, со ртом, полным золота. Этот человек давно уже потерял всяческие национальные черты, его как следует выгладила Европа. Лицо его было немолодо, но такое, по которому трудно определить возраст, оно было энергично и утомлено, — и было таким лицом, которые надолго хранятся в памяти. У него была привычка подбирать нижнюю губу, покусывая ее, а глаза его смотрели упорно, верно сказывая, что этот человек может думать быстро, точно, разумно. Этот человек держал в руках стакан пунша, но не пил его, — машинально, должно быть (хотя этот человек был того склада людей, которые очень внимательны), он перебирал в пальцах стакан и заглядывал на его дно.

Потом было утро.

Тогда к капитану подошел тот юноша, который простоял ночь у форштевня, в галифе, но без сапог, в одних галошах на красных домашнего вязания чулках. Юноша спросил капитана:

— Гражданин капитан! Вы вчера сказали нам, что, когда мы выйдем в море, мы можем петь от девяти до двенадцати дня и от пяти до девяти вечера. Скажите пожалуйста, мы уже вышли в море?

Судно шло морем уже около полусуток, — на лице капитана изобразились посменно страдание, недоумение, опять страшное страдание, обида. Капитан вынул руки из брюк, уперся ими в боки, потом стал разводить руками, все дальше и дальше назад, выставляя вперед живот. Потом рука капитана подперла его щеку, лицо изобразило плач, — и по палубам полетел бас капитана:

— Да это же чорт знает что такое! Да это же вы издеваетесь над капитаном! Да это же, да это ж!.. — и

уже свирепо, двойным басом: — Молодой человек, не смей издевательских глупостей спрашивать у капитана! — —

Через несколько минут, все же, капитан мирно ел маслины и мирно беседовал с Александром Александровичем. Юноша же энергично ходил по палубе с девушкой, пусть жарко, но под руку: он был в галифе и в шляпе, в руках у него была тросточка; девушка была в нитяных туфлях, чулки были надшиты, черные и серые. Она была очень некрасива, кривонога, широкобудюка. Он смотрел сосредоточенно; они ходили очень быстро; он говорил, должно быть, о чем-то очень значительном, и тем не менее под руку; и надо было заключить о том, что, пусть они оба некрасивы, — всегда прекрасна молодость!

II

Судно — синью морей — шло в Палестину.

Через день моря был Босфор, Кавак. Там турки возили палубных пассажиров в баню. Глаз пригляделся к пассажирам. Было известно, что под лестницей на спардеке поселилась семья бухарских евреев; в их костюмах и, должно быть, в их быту отразилась та тысяча лет, что прожили они среди узбеков: мать, в узбекском халате, лежала на пестрой перине, прикрывшись широчайшим шелковым одеялом, подобрав под себя детей, — как легла на перину, так и не вставала с нее, должно быть, решив не вставать до Яффы; отец же от времени до времени вылезал из-под перины, тоже в халате, и бегал на другой конец парохода, тоже к бухарскому еврею, поиграть в кости; мать резала арбузы и давала огромные ломти детям, — около их логовища лежала гора арбузных корок и тут же стоял ночной горшок для детишек. Горские евреи, выходцы с Кавказа, на подбор красивый народ, держались вместе, табунком мужчины, табунком

женщины, — они везли с собой кусочек кавказских вершин и ущелий, — гибкостанные, высокие, медлительно-ловкие, потомки хозар. Если присмотреться внимательнее, украинские евреи — рослее, здоровее польских и литовских; это от того, должно быть, что, когда громили гайдамаки евреев, они вырезывали всех мужчин и насиловали всех женщин, от девочек до старух, вливая в еврейскую кровь гайдамацкую. Почти все литовские евреи, ремесленники, были хилы. На спардэке у трубы устроилась семья субботников, украинцев, принявших еврейство; он, муж, кроме украинского языка знал еще древний еврейский, — она же, жена, умела говорить только по-украински; все дни она сидела так, как сидят, отдыхая, русские бабы, на полу, широко расставив ноги; голова мужа лежала у нее на коленях и она искала у него в голове вшей, — впрочем, это в то время, когда они не молились. Старики-евреи попросили у капитана место для молений; капитан отвел им пустое трюмное помещение. Там в этом пустом трюме света не полагалось. Там была сделана моленная. Там горел десяток свечей, и все же был мрак. Там пахло так, как всегда пахнет в трюмах — и как пахнет в гетто. Там на полу, кто на чем примостился, сидели старики в талесах, в ермолках, с коробочками тфилнов на головах с кожаннопереплетенными книгами. Из трюма по жилым палубам неслись песнопения. Там, в трюме, нечем было дышать, глаза резало удушье свечей, там было очень жарко, — и круглые сутки там молились люди неведомому, страшному Адонаи неистово, страстно, обреченно. Субботник-украинец молился здесь со всеми остальными, так же, как остальные, закидывая высоко горё голову. Молодежь все время митинговала на баке. Классных пассажиров было немного, это были зубные врачи, несколько актеров (один из этих артистов приходил к капитану со следующими словами: «Простите, гражданин капитан. Я

артист московских больших и малых театров, оперный артист. У меня билет до Яффы третьего класса. Нельзя ли мне устроиться во втором, там есть свободные каюты» — —; зубные врачи, актеры, маклер все время были на спардэке, пили чай и ели из кулечков, запасенное с земли; их жены наподбор были толсты, откормлены; они нежились на шэз-лонгах и около них болтались молодые штурмана и практиканты; мужья несколько раз принимались за преферанс.

В первый вечер моря необыкновенно умирало солнце. Торжественная проходила тишина, — и тогда море и мир, все проваливалось во мрак, а звезды стали такие, что, что — нельзя было подобрать к ним сравнения. В этот час никого не было на спардэке, кроме Александрова: евреи от торжества сошествия ночи ушли к своим койкам. Над водой стал месяц и быстро пошел в небеса, рядом с яркой звездой; по морю, в синем мраке, легла от месяца дорога — и Александрову стало ясно, что, если у турок всегда такой полумесяц, как этой ночью, византийской вязи, то понятно, почему у турок, у ассирийцев, у мидян, у египтян были ночные, лунные цивилизации. Около месяца, застежкой, горела яркая звезда.

Утром судно пришло к Босфору, к Геллеспонту, к этому красивейшему, величественнейшему в мире земному месту, где склонились друг к другу горами Европа и Азия. Вода и небо были ослепительно сини. Солнце грело жарко. С земли дул ветер, гудел в вантах, — и от этого ветра еще лучше было солнце: такой ветер должен все раздувать, оставляя свою синь и солнце... Впрочем вода была синей только в проливе, под бортом парохода и у берегов она была зелена, как яхонт. Направо на европейском берегу и налево на анатолийском росли фиговые леса. На вершине горы главенствовали над проливом развалины сердцеподобной генуэзской крепости.

На взморье было до десятка пароходов, их гуды отдавались многими эхами. Справа и слева с моря шли фелюги, под косыми своими парусами, пестрораскрашенные. Судно прошло в Кавак, в контроль. В бинокль на берегу были видны очень маленькие и пестрые восточной архитектуры трехэтажные домики, стоящие прямо на воде так, что под домами были устроены для каиков гаваньки. Над одной из гаванек была кофейня, на терраске над водой сидели люди за кальянами. Судно приняло полицию, врача и пошло на карантинный пункт, в баню. Опять за бортом зашелестела яхонтовая вода, опять задул ветер, тот, который необходим солнцу.

Впрочем, солнце, небо и землю наблюдал только один Александров, потому что остальные пассажиры были настроены так же, как должно быть, перед погромами. Никогда не плохо человеку помыться в бане, — но то, как делали это турки, когда они категорически гнали мыться в баню пятьсот взрослых человек, причем никто из этих людей в дальнейшем своем пути не имел права выходить на берег в Турции, — это было похоже на издевательство. К бане готовились еще с вечера, шептались, спорили, — старухи ходили к капитану, объясняли про свои болезни и просили заступничества капитана, не веря ему, что он бессилен оградить от мытья. Капитан сначала сердился, потом развеселел и рассказывал женской делегации о том, что в турецких банях моют евнухи, что в турецких банях есть такая специальная персидская грязь, от которой слезают волосы и которой турки моются, ибо магометанский закон не допускает волос на теле, и что этой грязью будут мыть женщин. Одна старуха, вполне серьезно, чтобы не ходить на мойку, скоропостижно забеременела, но ее же соседки подняли ее на смех и вытащили у нее из-под юбки подушку.

Судно отдало якорь около бани. С судна были спущены на воду три вельбота. Опустили два трапа. На палубы набрались добродушные турки, полиция и санитары. Карантинный флаг был снят. Домики на берегу под платанами мирно дымили, дымок уходил в горы, — в анатолийские просторы и синь. Все было очень пустынно. И такой был синий под солнцем ветер. Доктор по списку стал выкликать — Розенфельд, Геликман, Френкель, Кац, Карп! — и по трапам на вельботы поползли с узелочками люди, к бирюзе воды.

— Ямайкер! — вызвал доктор.

Никто не откликнулся.

— Ямайкер! — повторил врач.

Ямайкера пошли искать по палубам. Погрузка остановилась. Ямайкера нашли не скоро, он спрятался где-то в машинном под валами. Два турецких полицейских привели на палубу старого, очень худого человека, клинобородого. Лицо его было испуганно, борода дрожала. Он говорил о том, что жена и ребенок записаны в другом списке, и он хочет ехать вместе со своей женой. Вельбот покачивался внизу на волнах, набитый людьми. Человек с кошелкой для белья, в пенсне, крикнул оттуда сердито:

— Товарищи, что за шутка! Прошу относиться к делу серьезно и не понимаю из-за чего и почему шум — —

...Поистине, пароход шел по векам. Босфор, Золотые Ворота, Геллеспонт — здесь прошли все народы мира. Каждый камень, каждая развалина есть здесь память веков, от дней доисторических до норманов, до памятника Олегу в том месте, где он поставил свои струги на колеса. Судно заходило во многие порты, но эмигранты не выходили на землю. Судно шло солнцем, морем, простором, Эгейей, там, где совершенно понятно, почему греки создали такую прекрасную мифологию, ибо Паро-

сы, Андросы, Лесбосы, Скарпанто, Скапilosы сами по себе фантастичны, как греческий эпос, — судно шло невероятной синью моря, неба, гор, луны, восходов, закатов, дней: переселенцы не видели этого, не хотели или не умели видеть, — это проходило мимо них так же, как прошли те века, когда они не были на родине. Они не заметили, как увидел Александр Александрович Александров, что афинский Акрополь есть ключ ко всей европейской *дневной* цивилизации, этот белый, выжженный белым солнцем, единственнейший комок мрамора, ключ к истории тысячелетий, где ныне сторожика сушит после стирки красные панталоны. Александр Александрович Александров балдел, сходил с ума, у него на бок съезжал галстук; на автомобиле он мчал в Айю-Софию, поминал, что в этой церкви янычары в один день зарезали сорок тысяч греков (точно так же, в скобках, как в шестнадцатом году двадцатого века неподалеку в Дарданеллах были убиты и зарезаны те же тысячи людей, англичан, французов и турок, о чем памятью остались выскочившие на берег английские дредноуты, — точно так же, как в тысяча девятьсот двадцать первом году Мустафа Кемаль-паша, обложив тяжелой артиллерией Смирну, предложил грекам в двадцать четыре часа уйти из Смирны, всем до одного, от солдата до новорожденного, — и, когда греки не успели уйти, — сначала — тяжелой артиллерией — расколотил суда на рейде, а потом разбил, разгромил, сжег город, скинув в море до двухсот тысяч греков, солдат, женщин, стариков, детей, — оставив на обгоревших улицах, в мраморе, покой для сов, поселившихся там). Александров понуро смотрел на те несметные кладбища, города смерти, что на десятки верст могильных камней полегли вокруг развалин Стены Константина в Византии, — и весело поглядывал на могилы сорока султанских жен, зарезанных султаном потому, что он не знал, которая из

них — одна — изменила ему... В Эдикюлэ показывали колодезь крови, где турки рубили головы всем, начиная с султана. — — По землям Анатолии прошли все народы. В пыли лежат развалины Сард, Эфеса, Пергамы, Магнезии, Милета, Галикарнаса. Смирнская провинция помнит трехтысячелетье, легшее на нее пылью. Магнезия, куда мчал на скверном автомобиле по скверному шоссе Александров, столица лидийских царей, переименована в Магнезию из Танталиды, основанной Танталом, — тем самым, который, украв нектар, едово олимпийских богов, угощал им своих танталидских гостей. И на Сипилском хребте, видном из Магнезии, видна женщиноподобная скала Ниобеи, о которой сообщено Геродотом и воспето Овидием — то обстоятельство, что скала эта возникла из окаменевшей от горя Ниобеи. В Галикарнасе родился Геродот, — ныне там пыль и запустение, и несколько турецких лачуг. В Эфесе, в ночь рождения Александра Македонского, Герострат сжег храм Дианы-Артемиды, — чтобы прославиться: и Александров задира́л вверх голову, чтобы посмотреть развалины храма. В самой же Смирне, в теперешних ее развалинах, ютятся совы, но здесь, по преданию, родился и писал Гомер, — и здесь же до сих пор, — ныне в развалинах, на мостовых, построенных римлянами, по которым шли римские когорты, — пляшут под арфы левантийские танцовщицы, пляшут танец живота, застрявший из веков, и мажут себя перед танцем из веков же застрявшей амброй. В Эгейском море, в Греческом архипелаге каждый день из сини [благословением выходило солнце и благословением закатывалось, чтобы народить необыкновенную луну. Море — синевой — проносило судно мимо островов, где каждый остров — история и легенда. Ночами светила луна, и ночами на небо поднимались звезды, такие, которых никогда не видно из Лондона, Берлина, Москвы, — в полночь на несколько ми-

нут на кварту из-за горизонта выходило таинственное созвездие и сейчас же скрывалось за горизонтом. Ночью же судно прошло мимо Сенторинского вулкана, мимо этой стихии земных недр, вулканом выбрасываемых в небо. Луна меркла от вулканного красного света, было слышно, как дышит вулкан. Лицо капитана, около которого стоял Александров, было зловеще в этом красном мраке. Было очень величественно. Но на судне никто не видал этого. Александров неистовствовал от земель, городов, солнца и луны.

На судне почти не было событий. Каждое утро боцман мыл палубы, и тогда роптали палубные пассажиры, ибо приходилось перетаскивать с места на место вещи, — но шланга боцмана смывала за борт очень много грязи и объедков. В портах к пароходу подъезжали каики, и помощью веревок велась торговля инжиром, финиками, маслом, табаком, хлебом, — и тогда борт парохода походил на местечковую ярмарку, мелочную и очень шумную. Среди классных пассажиров было известно, что такая-то жена зубного врача забегает грешить в каюту радииста, и об этом знали все, кроме мужа. Поговаривали, что матросы понабрали себе жен на рейс с нижней палубы, но это делалось незаметно. Раза два были ссоры, в которые вмешивался капитан, чтобы примирить, когда возникали два ссорящихся коллектива. Однажды, уже в Средиземном море, на юте был большой шум: старик-отец ночью, проходя из моленной, увидел, что дочери его нет на месте; он пошел ее искать и нашел лежащей с юношей за якорями. Отец ее проклял. И утром толпа стариков, вместе с отцом, громко проклинала ее, на древнем языке. Она стояла у решотки фальшборта, над ней повисали проклинаящие руки, вокруг нее тряслись седые бороды, и было непонятно, почему она не бросается за борт от безобразия и — почему это старики только орут, но не

избивают ее камнями. Девушка же была покойна и, когда зацеплялась за кого-нибудь взглядом, покойно говорила, одно и то же:

— Ну, и что? — Я еду из Тарбута, и мой жених из Тарбута, а он — мелкий торговец, мой отец — —

Судно протекало мимо Византии, Смирны, Пирея, Салоник, — судно шло синью Босфора, Дарданелл, Эгейи, Средиземья. Все это протекало мимо. Чем дальше шло судно, тем страстнее неслись молитвы из трюма, из моленной, тем жестче сжимались руки и глотки в молитве. Уже за недалекими синями — обетованная земля; изгнание — окончено. Каждый, кто ступит на землю отцов, поцелует эту землю, священнейшую, родину.

В Салониках, — городе, разбитом и разграбленном так же, как Смирна, где целые кварталы лежат в развалинах, — на пароход села семья греческих евреев, сефардим. Их было семеро: старуха-мать — бабушка, сын-отец, жена и дети. Это были евреи второго — испанского — пути рассеяния. Их предки расстались с предками едущих на пароходе полторы тысячи лет назад. В Салониках неизмеримо жарило солнце, день был золот и синь. Эти евреи, конечно, ни слова не знали по-русски. Они поспешно взбирались по трапу. И на палубе вся семья — от старухи, которая шла впереди, до четырехлетнего ребенка, — все заплакали, все протягивали руки и, восклицая на древнем языке, все — они страстно, почти истерически, как братья, которые не виделись десятки лет — попадали в объятия, страстно целовали всех евреев, что были на палубе. И те, что были на палубе, поистине, вставали в очереди, как в Москве в 1919 году за хлебом, чтобы поцеловаться, — пусть у некоторых это было формальностью. В моленной, в трюме — на железе палубы, на канатах, на подостланных матрацах — сидели люди в

талесах и тфилнах, молились Адонаи; там чадно горели свечи и нечем было дышать — —

Однажды море развело волну, это было уже в Средиземьи. И море и небо посвинцевели, загудел в стройках на пароходе маистра, зеленая муть волн полезла на палубы. Люди тогда хворали морской болезнью. Человеческие тела завалили все палубы. Первыми затошнулись женщины, потеряли в болезни стыд. Стонали, причитали, валялись, не следя за платьями, их рвало тут же на палубы, около их подушек и голов. Иные висели над бортами, и ветер метал их волосы. За бортом величествовали стихии. На борту страдали люди. Меж тел ходила команда, иных тащила к борту, иным притаскивала воды, иных водила по сортирам. Ходил по палубам молчаливый доктор, больные просили у него спасения, — доктор отмалчивался, лишь изредка, неизвестно почему, спрашивал у женщин таинственным голосом, — «а что понос имеется?» — женщины поспешно рассказывали обо всем том, как варит их желудок, — и доктор проходил мимо. Когда доктор видел уж очень побледневшие лица, уж очень запекшиеся губы, он говорил санитарам, чтобы облили холодной водой и относили на спардэк, к трубам, на ветер и туда, где меньше качало. По палубам со шваброй ходил боцман, покойный человек; он подходил к тем, кто томился, и спрашивал: — «что, мутит?» — и производил тот звук, который не передать литерами, который производится во время рвоты, «ы-ык», — и человека сейчас же судорожно тошнило от этого звука; боцман шваброй растирал по палубам рвоту и говорил: — «Самое верное дело поблевать, сразу легче. Опять же я подмыл!» — За бортом стихийствовало море. В эти часы особенно много было людей в моленной. Во мраке там нечем было дышать от запаха рвоты. Огни свечей метались от качки. Там испуленно молились

люди, страдающие качкой, горё поднимая запекшиеся бороды.

А в ночь перед Палестиной море гремело грозой. Во мраке исчезли небо и вода. Только молнии кололи и рвали небо и воду, и выл ветер, и гремел гром. Было очень странно смотреть, как, когда померкнет молния светится еще — фосфорически — вода; — и тогда казалось что грохочет громом не небо, а вода, вот та, что лезет на палубы, вот та, в которую зарывается нос судна. Всегда величественны и грозны грозы. На судне никто не спал, но все люди, табунами, забились по щелям, дальше от грозы, в страхе, в молитвах.

III

...Впереди была Палестина — —

На Урале в России, где-нибудь около Говорливого или Полюдова камня, выбился из-под земли студёный ключ, протек саженью десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить, — и не выпил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить, — и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ —

За грозами революций и войн, за делами, разбоем, и буднями новых народов, правящих миром — республиканцев СССР, англичан, французов, немцев, китайцев, республиканцев Северо-американских соединенных штатов, — за заводами Ланкашира, Рура, Токио, Чикаго, — за дипломатией Кремля, Вестминстера, Версаля, Потсдама: — как помянуть о том человеческом ручье, который протек на судне Торгового флота СССР из порт-Одессы до порт-Яффы? — и какой это ключ — студёный,

горький ли солью, кипящий ли? — и к чему этот ключ, — что можно им отомкнуть, отпереть? — —

...Там, за синей мглой моря, была Палестина, эта страна выгоревшего камня, страна песков и зноя, — эта страна, где больше, чем где-либо, прошло великое разрушение древних цивилизаций, безводная страна, где только у оазов растут пальмы, — брошенная страна, ибо никто не вправе сказать, что это — его страна. В Палестине девять месяцев в году нет дождя, и тогда над землей стоят столбы красной пыли, и тогда такой жар над землей, жар пустыни, что нужны усилия фантазии, чтобы не спутать Палестину со сплошной печью. Потом три месяца под ряд льют ливни, и люди тогда хворают папатаджей, страшной болезнью, окончательно изнуряющей (впрочем, так же, как в жары непривыкший человек погибает от болезни харара, изъедаемый москитами). В ливни Палестина превращается в болота. В ливни Иордан, обыкновенно шириной в уличную лужу, разливается до четверти ширины русской Москвы-реки. В ливни, в болестях папатаджи, люди заботятся о воде, в этой безводной стране, собирают ее в подземные цистерны, чтобы потом в девять месяцев бездождья пить эту дождевую муть, ибо другой воды нет в этой стране, кроме морской, которую опресняют по побережью морскими опреснителями. В этой стране естественно растут только кактусы, пища арабов, да у оазов пальмы. Здесь на камнях, с страшным трудом, арабы возвращают апельсины и касторовое дерево. В этой пустыне, живут арабы и сафары, местные евреи. Их быт — быт пустыни, Корана и Библии: быт колокольцев на шеях верблюдов, этих тоскливых колокольцев в пустыне, быт осла, быт деревни за кактусами и за пальмами, где ручными мельницами женщины мелют зерна, женщины в чадрах, и куда не заходят европейцы в боязни быть убитыми, — быт

пыльных городков с зловоннейшими улицами, где не разойдутся два верблюда и где обязательно запутается европеец, — с мечетями, где дворы мечетей превращены в постоянные дворы для ослов, — с кофейнями, где левантийки и феллашки пляшут танец живота, — быт кальяна, мечети, синагоги, Корана, Библии, — беспаспортный быт, ибо даже англичане не в силах навязать арабам паспорта, — быт страшного солнца и величественной луны, когда воют в пустыне шакалы, — быт песков, которые ползут на Палестину из Аравии, — многовековой, старый, нищенский, тесный упорный быт. В Иерусалиме столкнулись святилища трех великих религий; мечеть Омара, где Магомет ушел с земли к Аллаху, — гроб Иисуса Христа в темном подземелии — и развалины Иерусалимской стены, стена еврейского плача; каждая из этих религий, пока она не умерла, не отдаст своих святилищ. Англичане пришли в Палестину „по мандату“, в эту „мандатную“ страну, с тем, чтобы создать Великое Арабское Государство, никому не нужное, кроме англичан, — и нужное англичанам к тому, чтобы проложить сухопутную дорогу в Индию. И англичане сделали из Палестины „национальный еврейский очаг“, с тем, чтобы еврейским мясом колонизовать арабов — с тем, чтобы дать повод к горестной еврейской остроте (ибо еврейский народ всегда сам про себя выдумывает анекдоты), остроте о том, что в Палестине — власть английская, земля арабская, а страна — еврейская! Англичане жили в лагерях в Палестине, за пулеметами и солдатами, и в тот час, когда на окраинах под луной начинали выть шакалы, англичане скрывались в своих лагерях, за пулеметы. Евреи приезжали в Палестину — работать, хлебопашествовать. Первым делом — по сравнению с арабами и сафарами — они оказывались европейцами, по костюму, по манере жить, по понятиям, в своем неумении

пить протухлую воду, в страданиях от жары, папатаджи и харары. Те евреи, которые приезжали с деньгами, ехали в Тэл-Авив, в городишко около Яффы, куда за прещен доступ арабам и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто восьмидесяти зубов, по десяти ног, и если бы человек носил бы сразу по полдюжине карманных часов, ибо тогда хватало бы работы на всех дантистов, портных и ювелиров, съехавшихся в Тэл-Авиве; но у человека гораздо меньше зубов, — и те евреи, что приезжали с деньгами, попросту скоро становились нищими. Те евреи, которые приезжали через Тарбут и Гехолуц, шли в английские казармы; сюда брались люди только до сорока лет, — там им давались одежда, обуша, пища и несколько пиастров, — и они мостили для англичан дороги, рыли канавы, высверливали воду, окапывались от ползущих песков, причем мужья жили в одних бараках, а жены в других, — их кормили англичане за длинными казарменными столами, и вечером казармы запирались. Третья волна евреев шла на землю, та, которой посчастливилось получить денег от барона Ротшильда или с американских подписных листов, — тогда они копали камень, рыли гряды, ссаживали в неуменьи руки, изнывали от жары, наспех читали брошюры по сионизму, жили в палатках, — а ночью, когда поднималась луна и выли гиены, брали винтовки и караулили поля, ибо арабы не утратили еще память о филистимлянах, восстанавливали филистимские времена и нападали ночами на евреев. Англичане не смешивались с евреями и арабами. Евреи не заходили в арабские деревни. Арабы не пускались в еврейские поселки. В пустыне глухо позванивали бубенцы верблюжьих караванов. На Иудейскую долину наползают пески пустыни. В Хайфе надо часами путаться в арабских закоулках, в зловонии, — можно часами любоваться — европейцу — ослиным постоянным дво-

ром под мечетью и базаром, тут же около мечети. Главная улица Тэл-Авива нищенственнее, но похожа на Уайт-Чапль-стрит в Лондоне и на одесскую Дерибасовскую. В Яффе — на глаз европейца — такая теснота в переулках, такая красота, такая экзотика, — так необыкновенны эти широчайшие белые штаны арабов, пестрота народов, красок, лиц, звуков, — под этим воспаленным солнцем, — так прекрасны, так красивы сафары и сафарки, библейские евреи, мужчины на осликах, в белых хитонах, с пейсами до плечей, с лицами, похоронившими в себе тысячелетие, — женщины, единственные здесь, кроме европейек, с непокрытыми лицами, — с лицами, скопившими в себе тысячелетия красоты Сиона — —

...Ночь перед Палестиной в море неистовствовала грозой. И всю ночь перед Палестиной страстно молились евреи, — перед той прекрасной, обетованной землей, их родиной, где не были они два тысячелетия, — молились в страхе, в стихиях, в громах, посланных им Адонаи, — молились, должно быть, так же страстно, как молились в этом море многожды, несколько тысяч лет назад, в золотой век Ассирии, Лидии, Египта, Греции, когда здесь, в бурях и грозах, гибли галеры и на галерах молились люди, — молились так, как молятся перед гибелью.

Тогда к рассвету стихла гроза, и на рассвете в синей мгле возникла желтая земля (пустыни, пески, камень, — только очень далеко вдали, за песками были видны синие горы. Люди вышли на палубу. Люди принарядились, чтобы крепче подчеркнуть свою нищету — нищету смокинга в утренний час. Капитан сверкал кителем. Александров вышел на палубу в огуречном шлеме, нарядный, свежее выбритый, в белом костюме. Вода была зелена. Небо синело так, что об него можно было вымазаться. Судно блестело чистотой. Краски и солнца, и воды, и неба и судна были совершенно первородны, голы, без

полутеней, точно их вырезали ножницами. Берег стал ближе, видны стали пальмы на берегу, белые груды домов, мечеть, два парохода на рейде, фелюги, кайки. И моторная лодка пошла к пароходу. Люди на палубах были в священной строгости, торжественны. Гехолуццы столпились на спардэке, рядами, готовые запеть свой гимн, в задних рядах был приготовлен сионистский флаг. Старики и женщины были готовы упасть на священную землю, чтобы поцеловать ее, и готовы были целовать тех, кто сейчас придет за ними.

Судно пришло в Палестину 1 ноября: несколько лет тому назад 2 ноября министр сэра Бальфур написал лорду Ротшильду о национальном еврейском очаге в Палестине. Моторная лодка пристала к шторм-траппу. Трое — три англичанина в военной форме, офицер и два сержанта — вошли на борт. Гехолуццы на спардэке закричали ура, запели гимн, за приветствовали, — старики бросились вперед с простертыми руками, спросить и узнать: — ни один мускул не дрогнул на сухих, вывяленных лицах англичан, они прошли мимо толпы, точно толпа была пуста. Англичане прошли на мостик к капитану, улыбнулись, поздоровались, спросили о море, и о погоде, состригли. Капитан широкоруко „вэри-матчил“ и „иэзил“, разводил руками, хохотал, предложил русской водки и икришки. Англичане не отказались, болоснежный лакей за тентом на спардэке заблестел кофейником, салфетками, тарелками, кеглей летая мимо толпы. Англичане были озабочены и за водкой обсуждали совместно с капитаном — нижеследующее: назавтра, 2 ноября, в день декларации Бальфура, ожидалось анти-еврейское выступление арабов, англичане не имели права сразу выпустить евреев на землю, без карантина и бани, баня же могла пропустить только триста человек, — а карантин стратегически так был расположен, что можно было ожидать нападения на

него арабов; англичане предлагали судну уйти на эти дни в море; капитан широкооруко хохотал, пил водку и доказывал, что каждый день простоя стоит ему двести фунтов, — тем паче, что пассажиров надо кормить; тогда стали торговаться о цене. Англичане пили водку не хуже капитана. Капитан и англичане за водкой хитрили больше часа. Тогда англичанин, офицер, вышел к толпе и сказал о том, что они, англичане, триста пассажиров примут здесь в Яффе, по алфавиту, кроме первого и второго классов, которые могут сойти с парохода без карантина, триста человек, — остальные же будут отвезены пароходом в порт-Хайфу, в хайфский карантин. Говорил англичанин по-русски. Англичанин сказал евреям, что они должны быть осторожны, запретил петь гимн, чтобы оправдать гостеприимство арабов. Англичанин сказал, что он, подплывая на катере, видел сионистский флаг, — и англичанин предложил флаг сдать ему, англичанину. Толпа гехолуццев окаменела. Англичанин твердо попросил его не задерживать, — но сам не тронул флага, глазом указав сержанту принять его и убрать. Тогда англичане ушли на катер, ни мускулом не простившись с толпою, и с парохода видели, как в зеленой воде поплыли синие лоскутья знамени. Тогда не стоило уже говорить об огне глаз приехавших в обетованную землю, ибо на борту стояла растерянная толпа, избитая так же, как избивали в древности камнями, — такая толпа, какою она была многожды, в дни еврейских погромов, — такою, когда еврею всячески хочется доказать, что он не еврей. И тогда на место англичан приехала на каике делегация местных евреев, представители разных организаций, — чтобы начать приемку приехавших; среди них были и женщины, и у всех у них почему-то были очень пыльные ноги; точно они прошли огромные десятки верст; никаких приветствий не было; делегация села за столик и стала

выкликать — Авербах, Альтшуллер, Аронсон. Первым сошел с парохода Александров, потому что у него была виза корреспондента и туриста, — а с десятым пассажиром, с женщиной — —

— — ей было сорок два года, она приехала через Тербут, гехолуцка, — и ее не выпустили на берег, она должна была плыть обратно, потому что англичане пускали в Палестину гехолуццев только до сорока лет, так как, должно быть, люди после сорока лет уже не годились для палестинского режима, женщина плакала и говорила, неизвестно, к чему, что она девственница, — она действительно, должно быть, была девственницей, и у нее никого не осталось в России, — брат ее был в Палестине. Ее оставили на борту, не пустили на берег, и брат махал ей — растерянно — кэпкой с лодки — —

Порт-Яффа — в сущности — никакой порт, ибо он с трех сторон открыт ветрам, а каменные рифы у берега только увеличивают опасность для пароходов, стоящих на рейде. Но всегдашняя волна на рейде приучила гениально работать арабов: на волне они работали лучше, чем турки у Золотого Рога. Ночью в тот день был шторм, теперь шла волна. Шаланда, ставшая у борта парохода, вставала на дыбы. Арабы — красивейший, сильнейший народ — плясали на пляшущей шаланде и очень шумели. Цепь арабов стала ни траппе и на борте. Они ссаживали на шаланду пассажиров. Араб на борте подхватывал пассажира или пассажирку, поднимал на воздух и бросал вниз на трапп, там подхватывал второй араб и сбрасывал дальше; пассажир летел над водой, — но внизу на кипящей, на встающей на дыбы шаланде подхватывали двое уже арабов, и обалдевший, перепуганный, орущий или визжащий пассажир летел над уготованное ему место на банке; в это время летел уже дальнейший пассажир, и первый не успевал опомниться и рассесться, как пустое

около него место занимал следующий обалдевший. Когда шаланда была окончательно набита людьми, она уходила—не на землю, которую так долго ждали, чтобы поцеловать,—а: в баню, где по команде мыли взрослых людей — —

Путь было закончен. Или начат? — —

...Команду парохода англичане не выпустили на берег, сошли только капитан и Александр Александрович Александров. Отвал был назначен на полночь. Но капитан распорядился, чтоб, если будут сильнеть волна и ветер, или раньше срока восстанут арабы, — давать гудки и разводить пары.

Александров на каике приплыл в гавань, прошел каменными лабазами и закоулками, вышел на площадь во всекрасочную толпу, арабов, евреев, ослов, верблюдов, мулов, автомобилей, пальм, хибарок, кофеен, лавочек с луком, финиками, апельсинами, кактусовыми шишками. Александров у стойки, выходящей на улицу, выпил мастики, раз, два и три. Шлем его сполз на затылок, сухие губы под английски-подстриженными усами полуоткрылись, открыли золото зубов, лицо обливалось потом, было стремительно, чуть-чуть хищно. Он купил себе английских сигарет, сладко закурил, — пошел по пальмовой аллее, где под пальмами неподвижно сидели, поджав под себя ноги, арабки, в белых чадрах, карауля верблюдов и поджидая мужей, и где не так уж вопили торговцы. Там он кликнул себе автомобиль, скомандовал мчать в пустыню, в Тэл-Авив, в Иудейскую долину, — машина пошла мимо кактусов, мимо бесконечных кладбищ, мимо пальм, мимо арабской деревни (Александров приказал остановить машину, хотел пройти по этой деревне, — за кактусами тесно столпились белые мазанки, стали кружком ослы, головами вместе, сидели на порогах женщины; шоффер, с которым Александров до этого говорил по-английски, непокойно сказал — по-русски, с одес-

ским акцентом: — „Не стоит туда ходить, неприятность будет“. — „Почему?“ — спросил Александров. — „Так, знаете ли, еще чего доброго убьют“, — ответил шоффер). Мчали мимо огородов, возделанных лопатой, — и пустыня оказалась рядом, в нескольких километрах: красновато-желтые пески, волна за волной, точно умершее море, — и пески уходили за горизонт, даже пальмы не торчали в песках, — и оттуда, с песков, веяло нестерпимым жаром, выпекающим. Машина вернулась, чтобы мчать по Иерусалимскому шоссе, в Иудейскую долину, — влево на песчаных и на каменистых холмах остался Тэл-Авив, „холм весны“. Прошел навстречу запыленный отряд, вздвоенными рядами, — ашомер, — еврейской вооруженной стражи, — винтовки и покрой одежды были английские, лица были утомлены и пыльны — —

В десять часов капитан и Александров встретились, как уславливались, в портовой таверне. На пороге кофейной стригли мальчику голову, голова была в струпьях, и из-под струпьев ползли вши. Трое играли на непонятных инструментах очень тоскливое, как пустыня, и сплошь дискантовое, — четвертый бил в бубен. Сначала плясали два мужчины, араба, потом еще пара мужчин в женских платьях, — потом плясала старуха, очень грязная, но продушенная амброй. Александров пришел пьяным: капитан, который выпил вдвое больше Александрова был благодушно трезв. Александров махал палкой, говорил об ослином постоялом дворе, о красавице-сафарке, о тартуше, куда его завез выпить напиток из индийского дерева шоффер и где он напился дузики, — записывал что-то поспешно в блок-нот, — смотрел с восхищением, как пляшут два плясуна в женских нарядах. Нарядный костюм Александрова был пылен и растерзан.

Капитан наклонился над Александровым, сделал серьезное лицо, расправил усы, помолчал и заговорил:

— Александр Александрович, я хочу вас спросить, извините, — вы на самом деле еврей?

— Да, еврей.

— Извините, Александр Александрович, — ну, вот, вы приехали на родину, ну, вы все видели, как мы везли их, как их приняли, — ну, вообще...

И Александров заговорил поспешно, весело:

— Я совсем обалдел от красоты. Я, ведь, во всех портах выходил, как только отдавали якоря, выходил на берег и ложился спать, только когда уходили в море. Я первый раз вижу это солнце, эти синь, тепло, море, горы, историю наяву, в руках. У меня море спуталось с греками и солнцем, с днем, — а Мустафа Кемаль-паша и его революция непременно связаны с ночью Ирана, Азии, Ассирии, Сирии, — и исторические века человеческой культуры непременно связаны одной силой с Сенторинским вулканом; силы, толкающие лаву из вулкана, — это именно те силы, что толкают человеческие цивилизации, что толкнули нас, коммунистов, на мировую революцию. Мои предки жили и здесь, в Палестине, и в Риме, и в Испании, и в — чорт их знает, где они жили эти тысячи лет! Те, что приехали сюда, что-то сохранили за эти тысячи лет, — у меня ничего не сохранено, ни один народ, ни одна страна мне не мать, я все могу только любить и видеть. Вы заметили, те, что ехали на судне, никуда не смотрели, ничего не видели. У меня нет родины, моя родина и мои родичи — весь земной шар и все люди, — я интернационален, потому что я две тысячи лет терял родину, и я коммунист, потому что я умею видеть, у меня есть ремень, приводной ремень, который, я знаю, который перемашинит весь мир. Я хочу и умею видеть. Весь мир мне родина. Я смотрю на этих танцоров, — из них прут века, так же, как из Стены Плача, так же, как из русского мужичишки, как из

английского потомственно-почетного рабочего, как из Синторина, как из Акрополя. Это мой приводной ремень. У меня, быть может, есть холодок веков моих предков, — я лучше вижу, чем люблю: но — тем лучше я вижу! Вот этого танзора я люблю, потому что вижу, статистически вижу —

— Вам все равно, что Россия, что Англия, что Япония, что Палестина? — спросил капитан.

— Все равно! — мне — —

Капитан неодобрительно пожевал губами посмотрел косо, и первый раз стало заметно, что капитан — подвыпил. Капитан расправил усы и сказал таинственно:

— Вы, стало быть, антисемит? — Я в партии с 1917 г., всю гражданскую войну на плечах вынес, — а вот тоже не люблю еще японцев. Придешь к ним в порт, положим, в Токио, а они — чорт знает что за народ! — и капитан сделал до слез презрительную рожу.

... У полночи капитан и Александров возвращались на борт. Шли они, дружно обнявшись, не спеша, покачиваясь. Пароход на рейде давно уже отгудел третьим гудком. В порту было темно, и мыльными пятнами ложились лунные блики на камень, по которому, быть может, хаживали и Иисус Христос и цезарь Тит. Луна огромными осколками ломалась в море. В каике спали арабы, поджидавшие капитана. Капитан разбудил ближайшего, тот улыбнулся, сказал дружелюбно — „москоби, большевик!“ — и растолкал товарищей. Где-то совсем рядом провыл шакал. Проснувшиеся арабы заклекотали, как клекочут орлы, просыпаясь перед рассветом. Синяя волна обсыпала большими и малыми осколками луны, качнула, не пустила каик от берега. Арабы заклекотали, потащили лодку, пошли за ней в воду. Тогда волны приняли каик в свой ритм. И в ритм волнам и в ритм веслам, как птицы, опираясь одной ногой о банку и отталкиваясь

другой от борта, повисая над водой, похожие на птиц, загребли арабы. И чтобы грести дружнее, они ободряли себя короткой, гортанной песней, значащей приблизительно то же, что российская дубинушка. Они всклекивались:

Мы, мужчины, молодцы! Мы, мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не кончен! — путь еще далек!

IV.

Вот арабская песня:

Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной,
любимой когда-то: —
так осторожней касайся глины своими теперешними ру-
ками. —

На Урале в России, где-нибудь у Полюдова камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженой десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонишься над ключом, чтобы испить, — и не выпил ни капли: или солоня вода, или горяча вода, а иной раз и не хочется пить, но наклонился и — нет сил оторвать губ от воды, — так хороша она. И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним — сотни, тысячи — гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая...

...Судно шло обратной путиной. Было 3 ноября, — через четыре дня наступала годовщина Русской революции. На судне были будни. На спардэке заседал судком — судовой комитет. Годовщину революции приходилось праздновать в море. Общее собрание вырешало, как провести праздники. Александрову поручили проредактиро-

вать стенгазету. Затем все принялись за уборку судна. Подвахта кочегаров примостила к трубам доски на манер того, как примащивают их каменщики и маляры на постройке новых домов в России, — залезла на эти доски, повисла на них и размаляривала заново трубы, пела про камаринского мужика.

Капитан лежал в шэз-лонге, с блокнотом на коленях: писал воспоминания об Октябрьском перевороте в Одессе.



СТАРЫЙ ДОМ.



I

На террасе в этом доме, на косяке у двери были многие карандашные пометки, с инициалами против каждой пометки и датой; каждый раз (раньше, когда дом не был еще разрушен), когда ремонтировался дом, всегда отдавались распоряжения не закрашивать эти даты, — и до сих пор еще хранятся пометки: „К. М. 12 апр. 61 г.“, „К. М. 29 апр. 62 г.“ — каждые две буквы, хранящие за собою имя, с каждым годом шли вверх. Потом на двадцатипятилетие исчезали года и появлялись вновь в самом низу двери. Инициалы К. М. — Катюша Малинина, прабабка Катерина Ивановна, возросли высоко: высока была и стройна в молодости правительница дома Катерина Ивановна. И каждая первая в роде, так случалось, возникая через каждое двадцатипятилетие внизу двери: дорастала до Катерины Ивановны. И последние даты, „Н. К. 11 апр. 924 г.“ — достигли зарубок шестьдесят второго года Катерины Ивановны, появившись у пола 7 мая (когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой) тысяча девятьсот восьмого года. Н. К. Нонна Калитина, последняя в роде, даты ее и зарубины возрастали в годы — 914, 917, 919, 920 — 924.

Катерина Ивановна, в девичестве Малинина, потом Коршунова („Коршунихой“ она и померла), — чтобы роду потом перейти к Калитиным, — Катерина Ивановна

померла: двадцать пятого октября старого стиля тысяча девятьсот семнадцатого года.

Этот дом, по плохой памяти того, чьи даты появились на рубеже восьмидесятых и девяностых годов, был приданым Катерины Ивановны. Жили тогда на Большой Московской (ныне Ленинская), где была торговля; только на лето приезжали сюда, как на дачу, на берег Волги, — совсем же переселились сюда, когда разорились и умер муж Катерины Ивановны, — и пометы на двери делали веснами, когда после зимы впервые выходили на террасу.

Терраса стояла на столбах, высотой сажени в две. Под террасой росли тополи, белые акации и сирень, и на десяток саженей — до забойки, до Волги — шли лесные склады, бревна, восьмерики, двенашники, тес, дрова, — этим жили Коршуновы-Калитины, — и за забойкой была Волга, просторная и вольная каждую весну и в песчаных мелях каждую осень. С террасы в Волгу можно было бросить камнем и выкинуть тоску. И от улицы отгораживали террасу каменные лабазы, в которых раньше хранились соляные — для всего города — запасы, а потом, когда появился керосин, хранился керосин, вначале называвшийся фотогеном, потом фотонафтелем и только в самом конце керосином. Перед четырнадцатым годом, после разорения, в лабазе хранили рогожи и уголь, — придаток к лесной пристани, где торговали пятериками. И, если на дом взглянуть с улицы со взвоза, — потому что дома строятся по ватерпасу, — казалось, что дом стоит покачнувшись: слева земля подходила под окна, справа под рядом этих окон был этаж кладовых и квартиры для сторожей, а лабазы были уже трехэтажные. К двадцать третьему году обвалился лабаз, и было похоже, что дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу — охренный дом — до крови красных кирпичей, да так и замер в своем скачке на дыбах, сдвинувшись, вжавшись в землю для

прыжка. Но дом был каменен, громоздок, глух, приданое Катерины Ивановны.

Первое, что сохранилось в памяти об этом доме, — это как умирал дед, муж Катерины Ивановны. Это было в годы, когда пометы этого поколения на дверном косяке только что появились, — и в памяти осталось, что дед умирал медленно, в мучительной болезни, и в полутемном (всегда занавешены были окна) его кабинете удушливо пахло судном красного дерева, похожим на трон деда, — дед не мог ходить, лежал на подушках высоко, и под подушками у него лежали конфеты: вот сладость этих конфет в удушьи судна и осталась навсегда в памяти, — и, если бы где-нибудь в хламе на базаре, встретился этот красного дерева трон судна — через десятилетия — его нельзя было бы не узнать... Но под террасой, на взвозе, на бульварчике наверху так буйно каждую весну цвели белые акации и сирени, — так буйно под террасой и под двенашниками, под забойкой разливалась Волга, несла простор, баржи, пароходы, пароходные гуды, штормы, песни, „дубинушку“, людей, бурлаков, мать — русская река. Тогда веснами (весной умирал старик) нельзя было не понять всего буя и вольности земли, вот этой спешащей, дурманящей черемухами, сиренями, акациями, песнями, толпами бурлаков, гудами. По дому ходила, плакала по муже громко и при всех, а в город ездила с зонтиком и в „капоте“ (так называлась шляпа) парой в дышлах, учитывала векселя, писала закладные, — а на пристань, к приказчику Михаилу Арсентьевичу, спускалась с тростью — Катерина Ивановна Коршунова-Коршуниха.

Что это: сохранила память, или создали домыслы? — что в этом доме бывал Пугачев, что под домом в подвалах (под домом большие были подвалы, и были они засыпаны) — в подвалах жили разбойники и фальшивомонетчики и шли там подземные ходы. И мальчишкам —

им все равно было, что бабушка ездит в государственный банк и в сиротский суд — мальчишкам, тем, чьи даты возникли в девяностых годах, необходимо было раскопать подвалы, самим застревать там так, что их надо было раскапывать, подкарауливать с кухонными ножами ножами (пока не заснут на посту) фальшивомонетчиков у дверей в кладовую и обдумывать, как бы снова изобрести Пугачева и каждому стать у него Хлопушей (память о Пугачеве крепко тогда жила на Волге, и мальчишки ее почерпали от бурлаков на забойке). Катерина Ивановна, возвращаясь из государственного банка, плакала на террасе об умершем муже и о том, что все дела он оставил на нее, — и мальчишек она наказывала — зонтом и тем, что сажала их в кладовую. В кладовой было темно и сыро, окна были с решетками, и была кладовая о двух этажах; в кладовой лежали сундуки с добрами, в кладовой стояли банки с вареньями и сушеньями, висели весы, на которых можно было качаться, в бочке был квас, — и в кладовой, качаясь на весах, мальчишки не скучали: ели варенье, пили квас; иной раз (от Пасхи) оставались откупоренные, заткнутые хрустальными пробками вина, — тогда пили вина и заедали их цукатами; когда вместе с мальчишками оказывались и девчонки, было плохо — девчонки наказание выполняли обязательно, плакали и не позволяли (под угрозой пожаловаться) есть и пировать. Мальчишек и девчонок было много, потому что у Катерины Ивановны было одиннадцать, а возросло семь человек детей, — и мальчишки держались поодаль от девчонок; но сыновья и дочери Катерины Ивановны разлетелись в те годы по всей России (и даже за границу), слетались только к весне, чтобы оставить на лето своих детей; — и бывало, когда совсем исчезала ребятня из дома, — оставшиеся тогда не различали различия полов, — и память сохранила быль о том, как Борис и Надя тра-

вили повариху Андреевну (о Наде — потом еще потому, что это была первая любовь Бориса). Опять была весна, когда красили на улицах дома, когда дымили на перекрестках в городе асфальтом и буйствовала сирень за загородными палисадов, — и Борис с Надеждой порешили стать малярами, красить синькой стены; Борис ходил в коротеньких штанишках, с прорехами с боков, без карманов, — и он отправился промыслить синьки в кухне, где было царствие Андреевны; он синьку с полки взял, но на кухню в этот миг вошла Андреевна; он синьку спрятал в прореху у штанов, но Андреевна потребовала, как требовала бабушка, — „руки показать!“ — и синька вывалилась из-под штанины; Андреевна не жила в содружестве с Борисом, она сказала, что бабушке расскажет обо всем Борис ушел позорно к Наде, которая его поджидала с тазом и водой, где надо было краску разводить. Борис сказал:

— Прогнала — Андреевна, дура.

Бабушки не было дома, — самое ужасное, когда не осуществлен проект, — и вскоре говорил Борис:

— А Андреевну мы отравим. Она страдальца будет и попадет в рай, — ей все равно, а нам — выгода, не будет жаловаться бабушке и синьку мы достанем.

И потому, что бабушка уехала в сиротский суд с приживалкой Дарьей Ермиловной, а слово с делом не расходилось, — вскоре обсуждал Борис конкретно, как лучше отравить Андреевну и убеждал Надежду, что это выгода для всех. У бабушки была темная, строгая спальня со всяческим множеством всяких прекрасных вещей, и была там полочка, где хранились лекарства и яды — от живота, от простуды, от зубной боли, от запоя, от перепоя, от мигреней и нервов (хоть сама Катерина Ивановна „нервов“ не признавала, как не признавала, что шар земной есть шар, а она на нем „как вошь на голове“). Борис

пробрался в этот шкаф, и план был так задуман: какой-то пузырек с таинственными каплями был опрокинут в сахарницу, а сахар на полке в кухне у Андреевны. Андреевны в тот миг на кухне не было. Борис залез на печку, где спал Иваныч — кучер (какие сказки там рассказывал Иваныч про лошадей и Пугачева, и поговорка у Иваныча: „А ты, ребенок, не замай!“), Борис увлек и Надю на печь, чтоб посмотреть, как будет травиться и помирать Андреевна. Судьба предопределила жизнь Андреевны у печки, и печь ответила Андреевне огнем, вот тем, что разлился по роже у Андреевны синею — почти — волчанкой; Андреевна вошла на кухню, — ребята знали, что Андреевна пьет сто стаканов чаю в сутки; Андреевна взяла коробку с сахаром, открыла, — ребята замерли на печке; Андреевна крикнула сердито:

— Нюшка, дрянь, ты что плеснула мене в сахар?

Нюша — горничная ответила из коридора:

— И вовсе сахара мы вашего не брали.

Тогда Андреевна заворчала себе под нос, из куба в кружку налила кипятку, к столу присела, все ворчала; и взяла огромный кусок сахара, тот как раз, что был обмочен больше всех. Борис на печке замер, у Нади выросли глаза — удвоились от слез. Андреевна сахар понесла ко рту. И тогда заплакала и запищала Надя:

— Андреевна, милая, не ешь, умрешь! — не надо в рай, ты с нами поживи!..

Оторопелою волчанкой рожи Андреевна крикнула зловеще:

— Што-о?

— Мы у бабушки на полке взяли яд, — не ешь, умрешь!..

Ты синьки не давала...

Надя плакала. Разоблачение по-странному воспринял Борис: он перевалился на спину, задрал кверху ноги и завизжал в блаженстве!.. Случилось так, что в

это время из сиротского суда вернулась Катерина Ивановна, — и Надя и Борис, прошед сквозь зонтик бабушки, сидели долго в кладовой: Борис уписывал варенье, а Надя, выполняя наказанье, каялась и плакала...

Там, дома, в тишине больших комнат, затихала усталость дня, только на террасе горели свечи под стеклянными колпаками, и около них вились серые бабочки, и сидела одиноко у самовара — бабушка — Катерина Ивановна, и стояли у двери, как раз там, где даты возрастаний, или кучер Иваныч, или повариха Андреевна. Те, даты коих возрастали сейчас же после „К. М.“, отцы, разметались по всей России, инженер, фабрикант, столичный адвокат, — революционер и революционерка — оперная актриса, — два сына ушли под забойку, в галахи, в оборванцы, в горькие пьяницы... Тот, чья дата стала расти третьим уже поколением, Борис, только кусками помнил этот дом, смертью деда, веснами, кладовой, фальшивомонетчиком; — короткие детские штанишки на длинные серые — гимназиста — он сменил в городе, легшем далеко, за тысячу верст отсюда, там, где коротал его отец свои земские дни, полулегальным революционером, всегда забывающим и — при воспоминаниях — строго судящим тот дом на Волге... И вновь приехал этот, теперь в длинных гимназических штанах и в курточке, новой весной, когда буйничала вновь сирень, топились котлы с асфальтом и гудела просторами и бурлаками Волга. И из другого какого-то города, из другого конца бескрайней России приехала туда же — не девочка в платице в уровень штанишек с двумя косичками, вечный враг заседаний в кладовой, — а подросток с длинными косами, на пол-аршина поднявший свою зарубь на двери в год, в коричневом платице — гимназистка Надя. Борис ей сказал, что он социал-демократ, она сказала, что она — эс-эрка, и Борис подарил ей стихи Тана, книжку с золо-

Тым тиснением, потом оба они зачитывались „Рудиным“ Тургенева, и Борис грустил над Рудиным, а Надя — над Наташей. Они играли в крокет, и бывало, когда им приходилось быть в разных партиях: — случайно ли получалось так, что у Бориса срывался молоток и надин — противника шар катился на позицию. Они играли во мнения: — и случайно ли Борис всегда угадывал, кого выбирала Надя. Взрослые тогда часто ездили на лодке за город, на Зеленый Остров, там пили молоко, покупали у рыбаков стерлядь, варили на костре уху, пели песни у костра и спорили (тогда, мимо дома, мимо бабки Катерины Ивановны, мимо первой этой детской любви проходил девятьсот пятый год), — Надя и Борис сидели в лодке, разговаривали так, что разговор не остался в памяти, ногами болтали в воде (все разувались, даже взрослые, чтобы ходить по песку), — лодка накренилась, Надя качнулася и оступилась в воду — неглубоко, по колено, — но Борис, не думая, бросился в воду, стал там по пояс, поднял Надю и понес ее на песок: все это было моментально, глаза Нади были удивленны и испуганы, и смотрели в небо, — и Борис не заметил, как приблизил губы свои к щеке Нади, как поцеловал — и понял лишь, когда стал погибать, навсегда, бесповоротно, сгорая от стыда и горечи и раскаяния.

В доме внизу, там, где были лабазы, кладовые, подвалы, в полуземле были еще какие-то, похожие на тюремные, ширококаменные, за решетками — как их называть, — квартиры, каморы, — там на зимовки становились водоливы, — там в одном из таких сводчатых подвалов жил с семьей столяр Панкрат Иваныч, бастовал и голодал, — у Бориса был рубль, серебряный, подаренный ему вместе с кошельком, бабушкой, чтобы копил, — Борис заказал Панкрату Ивановичу — за рубль — полочку для книг... Борис и Надя сидели в зале, держась за руки, —

прошла мимо бабушка Катерина Ивановна; Борис пошел вечером с Надей к забойке посмотреть луну, тишь и Волгу, они сели на бревна, — Боря взял надину руку, — над забойкой возникла грузная фигура Катерины Ивановны: — и на утро Надя собиралась ехать к родителям, ей не позволили даже проститься с Борисом, — а бабушка, в зале, под портретами дедов, стуча палкою о пол, говорила Борису непонятные и гнусные слова о кровосмещении, о том, что они не дети, и о том, как прожили она свой век с мужем, с дедом (с тем самым, о котором память сохранила вкус конфет в удушьи его умирения), как никак не жили и только дважды виделись они до свадьбы...

...Потом Борис виделся с Надей — через десять лет, когда оба они носили уже отчества — в Москве, на Николаевском вокзале, где шли толпы людей, лежали чемоданы и приходили и уходили поезда. У Нади на руках был ребенок, она ехала к мужу в дальний город, где он, офицер, раненый лежал в лазарете, — Борис издали узнал Надежду и увидел, как высока, красива и стройна она. Вуалька на черной шляпе у нее была спущена. Она подняла вуальку, чтобы поцеловаться с родственником и заговорила о мелочах, о носильщике, о чемодане в багаже, — и тогда Борис услышал, что в голосе ее звучат слова так же, как некогда они звучали у бабки. Они сели на извозчика и поехали по Каланчевской и мимо Красных ворот к Нижегородскому вокзалу.

...Там, на Волге, — каждую весну буйничали Волга, воды, сирени. Дом стоял на взвозе и внизу, под забойкой буйничала человечья толпа, в пудах, штуках, тюках, в визге свистуллек, в зное небес, облитых глазурью как свистульки. Двое сыновей Катерины Ивановны, Петр и Константин, скатились со взвоза туда за забойку, в рвань, в беспробудное пьянство, в водку, которую можно

достать там воловьим трудом, кой надо потратить, чтобы таскать восьмипудовые кули с солью и воловые кожи, — тем соленым трудом, кой кроме пота и водки и горькой жизни, дает еще воблу; один из них погиб без вести, другой: — о другом присылала полиция, после розысков, справку, что убит он или не убит, но скрывается где-то в Николаеве на юге, ибо пойман был с шайкой воров и грабителей, но отстрелялась шайка, оставив троих неопознанных убитыми? — и Катерина Ивановна не знала, как записать Константина в толстой своей поминальной в коже и с крестом книге: за здравие или за упокой.. Другие дети ее пошли со взвоза — по тогдашним понятиям — в гору: один строил мосты, путеец-инженер, к двадцати семи годам отрастил живот, и худенькая его жена писала в письмах, что изменяет ей с певицами из кафе-шантана, но деньги выдает на месяц аккуратно. Второй, уехав за границу учиться немецкой философии, вывез оттуда патент, открыл под Петербургом химический — красок — завод, был он любимцем Катерины Ивановны, и потихоньку от всех, за долгами и процентами по векселям, посылала ему она „на обзаведение“ тыщени; — его жене, ничего не писала, кроме поздравлений и благодарностей на Рождество и Пасху. Третий стал адвокатом в Москве, по веснам ездил за границу, добряк и шутник, — это его дочь была Надя, — и жена его писала свекрови, что жить так, как живет она, свекровь, некультурно, невозможно питаться так жирно, нужно главным образом вводить в организм белки, — что капиталистическая форма жизни изживает себя и жить рентами с капиталов нечестно, и что они едут в этом году в Карлсбад... Была одна из дочерей у Катерины Ивановны, которая навсегда осталась с ней, выехав только однажды, повенчавшись к мужу, на два года, чтобы вернуться опаленной и с дочерью на руках, Нонной, —

Катерина Ивановна умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. — Последние заметы на косяке двери на террасе — „Н К.“ — Нонна Калитина — возникли у пола 7 мая (когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой) и возрастали в годы — 914, 917, 918, 919 — 924... .

. II

Годы четырнадцатый и пятнадцатый прошли занавесью перед действием осьмнадцатого, двадцатых годов. В семнадцатом году пошли в переселения все правды и все народы, и манеры жить россиян: страшная гололедная гроза прошла по России, все размела даже тех, кто жил в старом доме, все развеяла, все переморозила и перегрела в жарах и гололедицах. Катерина Ивановна Коршунова умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Тех, кто вторым поколением возрастал после Катерины Ивановны, их разметало по всей земле, не только русской: одни вспоминали старый дом где-то в Алжире; один рассказывал о нем в городе Петербурге, в Америке, Надежда Сергеевна вспоминала безразлично о нем в Благовещенске, в Восточной Сибири, куда занесли ее — ее муж и осколки колчаковских армий. Двадцать первый год, когда в старом городе людоедствовали, был распутием для этих людей: как из огромных глетчеров, когда они тают, текут ручьи и несут с собой все, что замерзло в них, иной раз так, что замерзшее, консервировавшееся холодом, текло таким, каким оно было вчера; — так из ледников осьмнадцатого — двадцатых потек двадцать первый. Третье после Катерины Ивановны поколение, кроме Надежды, оставшееся в России, не думало о старом доме в старом городе: для него революция не была ледниками, металось по России в делах и строительстве, в проектах дел и в строительстве

проектов; и все же, должно быть, годы глетчеров заморозили их так, чтоб в ручьях потом отогрелось и такое, что осталось от доледникового памятования... Годы двадцать второй — четвертый много хранили в себе печали для этих людей; в эти годы сыскивали люди друг друга, и приходили письма, как из-за гроба, из Алжира, из города в Америке Петербурга, написанные одновременно — и на разных языках и по-русски; а у себя надо было сразу перепроверять все, прожитое и изжитое в эти ледниковые годы, чтобы перестраивать — если не наново (потому что в жизни человека новым бывает все только один раз), то к лучшему — —

.....

Был апрель тысяча девятьсот двадцать четвертого года, когда сумерки зеленоваты и когда сумерки воруют покой.

И был апрель в деревушке под Москвою, и были сумерки. Тот, чьи даты возникли на косяке двери третьим поколением, написал в эти сумерки:

„Через три-четверти часа я пойду на станцию. Я приехал вечером, и еще с улицы увидел Катюшу. Мальчишки у околицы выстроились в ряд передо мной, пропустили сквозь свою шпалеру, закричали понятное им. И было очень больно, вот в этих мальчишеских взглядах понялась моя отчужденность от этого дома, где прожиты все эти нелегкие годы, которые имели не одну только горечь. Детей любишь, как землю — и горькою болью было прижать их к груди. Жена рассказала, как Анатолий просил написать мне письмо: проснулся утром и спросил, где папа, потом захотел, потребовал, чтобы папа был дома, сейчас же сказал, чтобы написала письмо, продиктовал:

— „Написы, — плиззай сколей, дологой!..

„Жена заплакала, рассказывая. Анатолий сидел на своем высоком стуле, „Конька-горбунка“ он присвоил

себе, — Кате пошел Соьер; Анатолий рассматривал картинки, Катерина пошла спать, я подсел на ее кроватку, она рассказывала мне, как 1-го Мая они будут кататься на автомобиле. Анатолий не хотел уходить от меня, — мать ему сказала, чтобы шел — „иначе папа опять уедет“, он заплакал и покорно пошел, — „только не уехывай“... И утром, в одной рубашке, голопузый, Анатолий прилез ко мне в постель, лег рядом, вставил в рот незажженную папиросу и „курил“. Утром я ходил на село, принес конфет, — детишки встретили на улице: Анатолий взял конфетку и пошел с ней спать...

„Это очень страшно — дети. Их любишь, как землю, как себя, как жизнь. Горькая любовь: у меня сейчас, когда я собираюсь уходить, так же на душе, как должно быть у человека, который захворал раком и может с корандашом в руках высчитать, через сколько недель, часов и дней он умрет... Я хожу по дому, говорю, делаю и ем: не верно это, я здесь чужой... Горькая любовь — дети!“

Потом этот человек шел полями и лесом, шарил его ветер и закутали туман и тьма, — и там в тумане и мраке пахло черемухой и пели соловьи. И из тумана на полустанке выполз поезд. Тогда думалось о — о человеческой лжи и правде, о том, что никогда, никогда человек не может высказать, понять и рассказать себя так, чтоб сам же мог утвердить, что это правда, — а в эти горестные дни расхождения с женой ни он, ни она не сумели сказать друг другу — правды, такой правды, которая свою беду, как чужую, по пословице, руками, руками бы развела, — правды, которая есть и, если была бы сказана, принесла бы покой и оправдание... — Поезд пошел в туманы, и было хорошо, что в вагоне не зажигали огня.

А Москва, которая от дней в этих последних днях апреля несла уже летнее удушье, встретила огнями, шу-

мом тротуаров, смешками в переулке. Трамвай, тоже возродившийся из ледников, тащил медленно, поскрипывая. Дома отпер французским ключом дверь, — комната пахла нежилым, книги покрылись пылью, хлеб на окне зачерствел. Пришел швейцар, принес пачку писем, — и среди них было одно, денежное, из того старого города, о котором не думалось, забылось, — звал некий антрепренер прочитать там лекцию. Вспомнилось детство, — подумалось, что за все эти годы ни разу не вспоминалось о том городе и доме, — и вот сейчас неизвестно, кто там, — есть ли там кто из родных, уцелел ли дом. В тот же вечер пошла телеграмма о согласии приехать, а через два дня поезд понес к степям, на Волгу, в старый город.

В поезде, в международном вагоне, который шел по разбитым шпалам и мимо по-ледниковых станций иностранцем, — было просторно, неспешно и одиноко, и в одиночестве приходили мысли о бренности жизни, о проходящести ее, о детях, как земля, — вспоминалось детство, набережная на Волге за забойкой, где подслушаны были разговоры о Пугачеве, те разговоры, мечту о коих воплотил во плоть дней и будней тысяча девятьсот семнадцатый год, — и опять думалось о земле и детях, о годах и пыли лет. За окнами в поезде с каждым десятком верст становилось все степнее и просторнее, — поезд шел в места, где было людоедство: и когда поезд подходил к старому городу, на полустанке мальчишки продавали ландыши, белую акацию и сирень, как в детстве.

Тот, чьи даты сохранились или не сохранились на косяке двери старого дома в этом городе, — не поехал в этот дом, а направился в гостиницу, снял номер и, потому что от гостиницы до старого дома было далеко и неизвестно, кто там живет, не пошел туда в этот вечер, — ходил по бульварчику и смотрел оттуда на Волгу и на волжские далекие просторы под горой.

Утром он пошел в старый дом. Он шел переулками, где когда-то бегал мальчишкой и где проезжали раньше от набережных громовые ломовые, — теперь здесь было пусто, росла трава из камней, а за палисадами, за полуразрушенными воротами и заборами буйничали сирень и белая акация. Людей здесь не было, и каменные лабазы и амбары для муки стояли без дверей, разинутые и пустые, в прошлогодней белине и полынке. От старого собора (как раз того, около паперти которого валялась пушка Пугачева) широким платом размахнулась Волга, вольная и буйная, как каждую весну. И Волга, как переулки у старого собора, была пустынна, безмолвна, — там, где стояли баржи и толпились тысячи, ничего не было, и забойку размыло водой. А когда он, человек, стал опускаться со взвоза, он услышал, как буйно гудит Волга лягушечьим криком, никогда здесь не слышанным раньше, и где-то рядом, забыв про день, шалый от ночи пел соловей. Мостовая на взвозе разбилась, выветрилась.

А дом стоял, показалось, попрежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и посыпалась в Волгу; а потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его: не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи пятериков, уступами шедший к Волге, полег залишаевшей собакой, серый, в белине и полыни. С террасы была сорвана крыша, — но от террасы шло отдохновение: сирени и акации под ней разрослись, выползли оттуда на двор, полонили пустое пространство, буйно, по-весеннему весело. У парадного входа ступеньки крылечка были разбиты и парадная дверь повиснула в воздухе, — он, человек, пошел задней лестницей.

И там, на лестнице в холодке встретился старичок, сапожник за своим ремеслом, с валенком в руке.

— Кто здесь живет? — спросил он, пришедший.

Но старичок не успел ответить: навстречу вышла девушка, очень высокая, сильная, с ведром в руке, — и она сразу напонила и старый портрет Катерины Ивановны и Надю, — Надю тогда, ту, в юности. Пришедший понял, как бьется его сердце, — пришедший вспомнил Надю и детство, — пришедший не понимал; кто стоит перед ним. Девушка поставила ведро и, легко через ступеньку, побежала навстречу.

— Здравствуй, — мы тебя давно уже ждем, мы читали афишу, — сказала она, и голос был — надин и бабушкин. — Где твои вещи, давай, я принесу.

— Нонна, — приехал? — крикнули сверху.

...На террасе уже не было крыши, не было шума за забойкой, — росла, буйствуя под террасой, сирень и еще просторнее шла Волга. В доме — в главных комнатах жил столяр Панкрат Иванович, переселившийся сюда из подвала, — жили сапожник, телефонная барышня, два грузчика, две студентки. И в дальних комнатах, где раньше никто не жил или жили приживалки Катерины Ивановны, домирала дочь Катерины Ивановны, та, которая уезжала из дома только на два года, чтобы опалить любовью свои крылья, — и с ней жила ее дочь, Нонна. На весну Нонна выехала из этих комнат, — устроила себе жилье на лестнице, под террасой, откуда из окна видна лишь Волга, — с ней там жила подруга, ушедшая от своих, от отца и матери. Там у Нонны было занятие и странно, точно это были конструкции театров тех лет: на перегибе лестнице была прикреплена кровать, как птичье гнездо, пол — остальной — шел широкими ступеньками лестницы, амфитеатром, чтобы можно было не иметь стульев; на стенах Нонна повесила портреты, старые, дедов, — бабка Катерина со стены — в молодости — смотрела Нонной, четвертым поколением; ноннин туалетный столик повиснул над отвесом ступенек; раскрытым лежал том

Плеханова, и рядом с ним кастрюля с гшенной кашей...

Та дверь на террасе, где делали пометы возрастных, и самые эти пометы сохранились. Этот, третье поколение, нашел свои пометы, последнюю свою помету, — стал под нее и стало больно на минуту: он снизился в росте. вершка на полтора. Нонна ушла с ведром, — запела вдруг, весело, частушку о „миленке“, — вернулась быстро, поставила ведро.

— Меришься? — сказала. — Я тоже каждый год мерюсь. Ну-ка. Стала к двери, выпрямилась, красавица: и выяснилось, что выросла еще на вершек, — на два вершка обогнала последнюю, шестьдесят второго года заметку Катерины Ивановны, — сказала:

— Самая высокая в роде!

Вошла Ольга мать Нонны, — Нонна ушла с ведром, запела незнакомую песню. Ольга села к барьеру террасы, тот стал лицом к Волге.

— Хорошо поет Нонна, — сказал он.

— Да, недурно, — учится в консерватории... еще учится в вузе, на фоне, слова-то какие собачьи, — сказала вяло Ольга.

— Как жили?

— Что же, у нас тут людоедство было, говорить не о чем, как жили... Нонка та не унывает, поет, учится, — упорная девушка, в бабушку. И вот чего не пойму: или молодость это, или время такое — вроде коммунистки она — все новое нравится, все на собрания ходит, вот и тебя слушать билет купила.. Как жили?... лучше не поминать. С Нонной я все ругаюсь...

— От бабушки ничего не осталось?

— Ничего... Так рухлядь.

— Старинные вещи были, бисерные вышивки, посуда, утварь, книги, — ничего?

— Ничего, все размело. Нонка вон, что-то подбирает, спроси у нее... Я тебе жаловаться на нее буду, нехорошо она со мной, не слушает, — хорошо еще померла мать, прокляла бы... Комсомолка она, слова-то!..

Вошла Нонна с самоваром, сказала:

— Отмериться-то я отмерилась, а не зарубила. Надо зарубить.

Тот встал и пошел по комнатам, все было и по-старому и по-новому одновременно, — в комнате Катерины Ивановны, где была полочка с ядами, жил сапожник. Снова вернулся на террасу. Ольга говорила Нонне:

— Опять к Панкрашке ходила?..

Нонна сказала:

— Знаешь, с нами теперь живет Панкрат Иваныч, — так мама все ругается со мной, зачем я к нему хожу, не может забыть, что он жил у нас в подвале.

Стало скучно, буденно, вернулись свои мысли, — замолчал и стал пить чай..

...Вечером Нонна приехала за ним на лодке, повезла на острова, говорили о пустяках, Нонна рассказывала о своих делах и знакомых, о экзаменах, о студенческих комкомах, — Волга была просторна и благостна, гребла Нонна.

— Ну, как же студенты смотрят, понимают? какие песни поют?

— Песни поют старые, все попрежнему о прекрасном, — студенты хорошие ребята, и всем нам приходится все заново строить, все разрушено... Я стараюсь быть все время в университете: дома мертвь, тоска, развал, все в прошлом, шипение, — вот я и хожу по этому дому только к Панкрату Иванычу, о чем он мечтал всю жизнь, приходит. Но я пойду по другому пути. Ты знаешь, как мы жили? — кем я не была, — и торговкой, ездила за мукой и бараниной, и за керосином, по Волге, и на па-

роходах, и артельно на лодках, бечевой по берегу, — была дровосеком, месяц в году по осени жила в лесу, дрова рубила на зиму, была грузчиком — разгружала вагоны и баржи, — контрабандой носила из-за Волги от немцев муку, туда шла девушкой, оттуда — беременной бабой, и окопы рыла... Жили упорно. Вот эта жизнь меня и научила понимать ее жизнь: никогда и нигде я не пропаду!.. Вот, я учусь петь, на фоне юридические науки изучаю, — а мне бы командиром парохода быть!.. Мать рушится, как дом... а я могу Волгу переплыть, четыре версты...

— Да дом разрушился...

— А знаешь, что я чуть-чуть было не сделала? — хотела было прошлой весной взять дом в аренду, у меня есть приятели — артельно отремонтировать его своими руками, конечно, — выгнать всю шантропу прошлогоднюю, как летошний снег, чтобы дом не рушился... Да я его еще возьму. У меня к нему странная привязанность, к дому, — я вот собираю все, что в нем осталось, какие-то старые тряпки, ненужные книги, вещи, — нашла где-то щипцы, которым лет сто, для опрвления сальных свечей, берегу их, это остатки какой-то культуры, которой у меня нет... Дом я возьму в свои руки, только торговой пристани там уже не будет, — я все дворы засажу листовою, пусть растет, и так засажу, чтобы ни одной тропинки, запутайся, глаза выколи!..

Нонна зачерпнула за бортом горстью воду, попила из горсти.

— Зачем ты сырую воду? —

— Пустяки, то ли бывает, —

и запела незнакомую песню, очень дремучую.

— Что это ты поешь? —

— А это разбойничья песня, сложена по преданию, при Пугачеве... Я о Пугачеве реферат писала, хороший был человек, люблю таких...

— А ты, должно быть, очень на бабушку похожа, только времена другие, бабушка бранилась — „уу, бурлак, Пугач!“

...Приехали уже поздно. Нонна привязала лодку, вышли из-под забойки, выпрямилась, поправила голос, — и вдруг опять стало ясно, что это Надя, когда-то давно, вот здесь же на забойке, когда на другой день бабушка говорила о кровосмешении... Нонна пошла вперед, привычно, крепкой походкой, красавица, силачка. Домой не заходили, пошли в гостиницу взять вещи, извозчика нанять Нонна не позволила, понесла чемодан на плечах. У дома во мраке кто-то лежал и хрипел. Нонна поставила чемодан и пошла туда, оттуда послышался голос бабушки:

— Э-эх, негодяй, опять надрызгался? Вставай!

Кто-то завозился во мраке, и Нонна появилась не одна: за шиворот она поддерживала сапожника, что жил в спальне бабушки, другой рукой взяла чемодан и опять пошла вперед. Ночь была темна. За террасой Волга лежала простором мрака, безмолвием, чуть чуть лишь плескалась вода у разбитой забойки.

И вспомнилось: — —

...Каждую весну, когда слетались все в дом к бабушке, пометы на двери росли на четверть вверх, и росла под террасой сирень и буйничала Волга за забойкой. Там, за забойкой на просторе вод, стояли сотни барж, косоушек, рыбниц, росшив, дощаников, пароходов, — под Часовенным взвозом на баржах была ярмарка, и Катерина Ивановна сама водила туда внучат, в прелести ветлужских крашенных деревянных баб, свистулк, ложек, чашек, коньков (тех самых по Ключеву — „на кровле конек есть знак молчаливый, что путь наш далек!“). От барж рыбьими усами шли канаты якорей, к забойкам от барж и росшив положены были сходни, на которых так хорошо было качаться, — и тысячи людей-бурлаков, го-

лахов, баб,—таскали на спинах тюки с мукою, лыком, пеньками, —крепко пахло там воблой и волжской водой и просторами. Под забойкой бабушки стояли ветлужские баржи с лесом и дровами, таскали голахи и бабы на носилках и катили на тачках один за другим, вереницей — дрова на берег, строили на берегу из них пятерики, целые фантастические домины, где хорошо и с риском быть заваленным, прятались, играя в прятки. Под забойкой все вместе кричали лягушками и визжали, мужчины и женщины, купаясь в мутной воде, и, выкупавшись, обсыхая, ели воблу, поколотив ей сначала по тумбе иль камню. В пивных на берегу и в лавчонках торговали бубликами и — пиво ведь горькое — кислыми щами. На забойке, под террасой буйничала сирень. И вот над этой блестящей водой, над комнями взвозов, над домами и лачугами, над тысячной толпой полуазиатского города — каждое утро поднималось солнце, палящее, золотое, которое раскрашивало небо точно такую же глазурью, какой были залиты глиняные ветлужские свистульки, похожие на петушков. Тогда вместе с солнцем там, под забойками, возникал человеческий гул, кричали грузчики, перекрикивали их разносчики и торговки:

— ...сбитень, сбиитень холааоднойай!.. — луку, луку зеленогооо!.. — гудели пароходы и кричали истошно с барж непонятное в рупоры. — А ночами, когда стихала вода и небо размалевывалось по-новому, сначала медленной красной зарей, а потом звездами, — за забойками, в дровах, на земле отдыхали люди и говорили — говорили, каким разбоем привалило счастье денежное Рукавишниковым и Бугрову, рассказывали сказки, говорили — об Имельяне Иваныче Пугачеве (пушка Пугачева валялась рядом на горе у Старого Собора), и казалось иной раз, что Пугачев, Имельян Иваныч, был — вот совсем недавно, ну в позапрошлом годе, — вон там, за Соколо-

вой горой он объявился, позвал пристанского старосту и сказал ему:

— Признаешь ты меня, Иван Сидоров, или нет? —

— Не приходилось мне тебя видеть, батюшка, никак не признаю, — говорит Иван Сидоров.

А Имелян Иваныч тогда — бумагу из кармана и говорит:

— А есть я убиенный царь — император Петр III, — и в бумаге о том написано.

Ну, Иван Сидоров первым делом — в ноги, потом ручку целует и говорит:

— Признал, признал, батюшка, — глупость моя, старость, слеп стал. —

Ну, Имелян Иваныч первым делом говорит:

— Встань на ноги, Иван Сидоров, не подобно трудящему человеку в ногах валяться, —

а потом:

— А теперь сделай ты мне реляцию, кто здесь идет против трудящего народа? —

— Барин у нас, помещик, против трудящего народа, — говорит Иван Сидоров. Живет он в своем дому и кровь нашу пьет.

— Подать сюда барина, — говорит Имелян Иваныч.

И барина привели, плачет барин, не охота с жизнью расставаться, сладка, вишь, жизнь была. А Имелян Иваныч ему:

— Жалко мне тебя вешать, потому жизнь в тебе все-таки человечья, а ничего не поделаешь, приходится как ты — барин и помещик. — Сдвинул брови Имелян Иваныч, взглянул соколом, да как крикнет: — Господа ене-ралы, вздернуть негодяя на паршивой осине!..

Поднимался иной раз месяц в ночи, туманил просторы волжские, холодил волжской вольной водой, — с горы сползал запах белой акации, роса пробирала лопатки, и

страшновато тогда было подниматься через кубы дров, затаившие в себе дневное тепло, потому что думалось, что — вот сейчас придет Имельян Иваныч, станет и скажет...

...Вошла Нонна и села на барьер, скрестила руки. И тогда тот, чьи даты возникли на этой террасе тридцать лет тому назад, вдруг почувал, что к нему пришла та правда, которая все разводит, как пословица, руками, облегчающая правда: он понял, что жива жизнь жизнью, землей, тем, что каждую весну цветет земля и не может не цвести, и будет цвести, пока есть жизнь — и острою болью захотелось, чтобы здесь на террасе — именно на этой террасе, в забытом городе, в забытом доме, оторванные жизнью, и все же родные, единокровные, — стали его дочь Катюша и сын Анатолий, стали к косяку двери и отмерились бы, и мерились бы так, пока не возрастут, — пусть не будет его, пусть идет новая жизнь!.. И тогда стало на минуту, в этой бодрой отреченческой радости, — больно, потому что все проходит, все протекает.

Под террасой, как и при бабке, буйничала сирень, пахнула так, что могла заболеть голова, — и к запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу выливали помой.

8 июля 1924.

Сторожка в Шихановском лесничестве на Волге.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

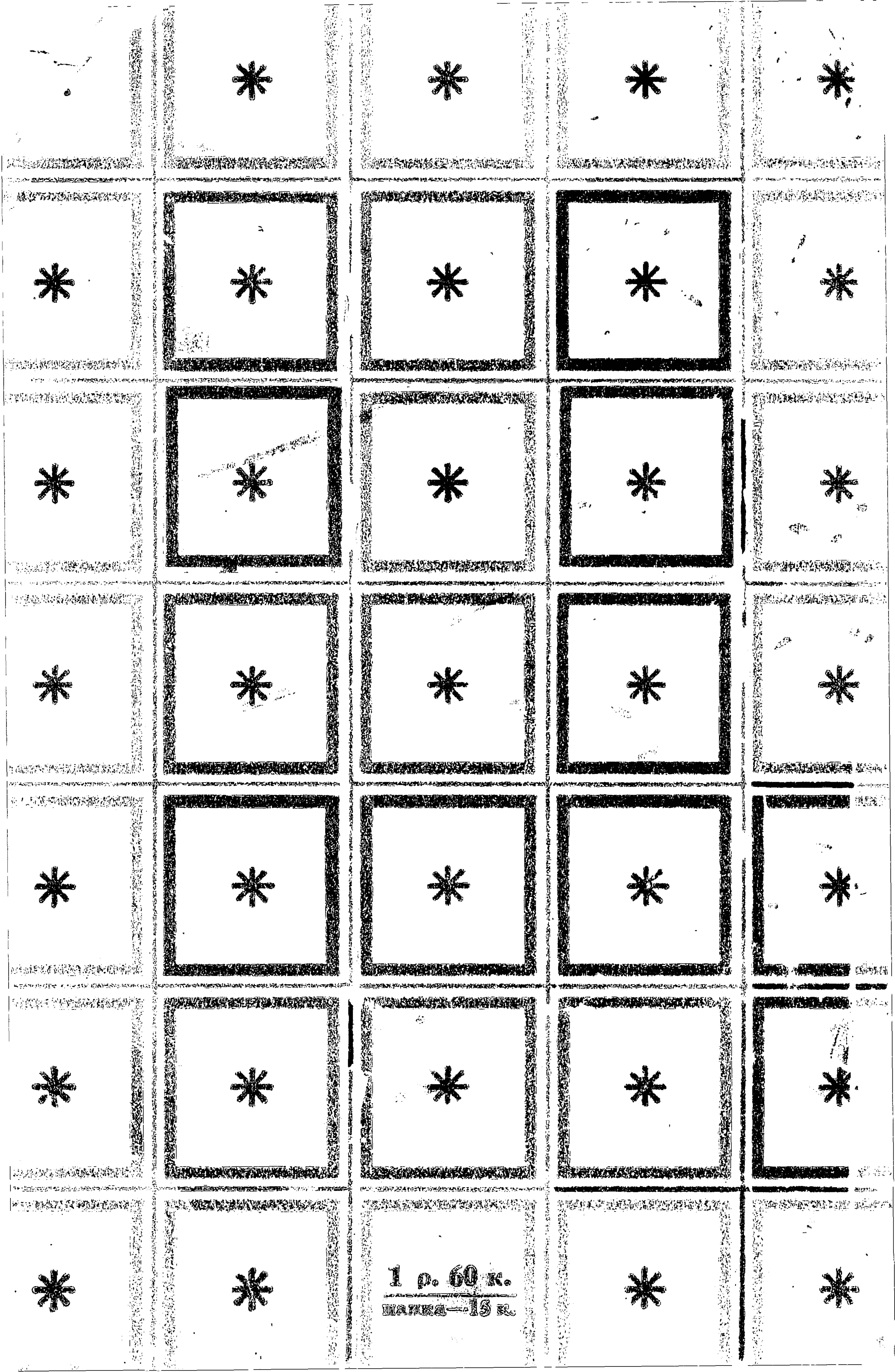
- „Расплеснутое время“: журн. „Россия“, янв. 1926 г.
„Олений город Нара“: „Новый Мир“, март 1927.
„Как создаются рассказы“: газета „Ленингр. Правда“, янв. 927.
„Нерожденная повесть“: журн. „30 дней“, июль 925.
„Без названья“: газета „Вечерняя Москва“, декабрь 926.
„Жулики“: журн. „Огонек“, июль 925.
„Человеческий ветер“: журн. „Новый Мир“, октябрь 1925.
„Грэгго-тримунган“: журн. „Новый Мир“, янв. 926.
„Год их жизни“: альманах „Сполохи“, м. 917.
„Снега“: журн. „Путь“, 920.
„Сторона не нашинская“: журн. „Красн. Нива“, янв. 926.
„Большое сердце“: альманах „Прибой“, 1927.
„Повесть о ключах и глине“: журн. „Красная Новь“, янв. 927.
„Старый дом“: альманах „Пролетарий“, 926.
-

СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр.</i>
Расплеснутое время	5
Очередные рассказы	17
Олений город Нара	19
Как создаются рассказы	29
Нерожденная повесть	—
Без названья	50
Жулики	57
Человеческий ветер	65
Грэго-Тримунган	76
Год их жизни	90
Снега	102
Сторона ненашинская	124
Большое сердце	1—
Повесть о ключах и глине	163
Старый дом	201

КНИГИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА

- Том I. „Голый год“ }
„ II. „Повести“ } изд. автора „Никола-на-Посадьях“.
„ III. „Рассказы“ }
„ IV. „Машины и Волки“, изд. Ленгиза.
„ V. „Мать-сыра-Земля“, изд. Круг.
-



1 р. 60 к.
пайка—15 р.